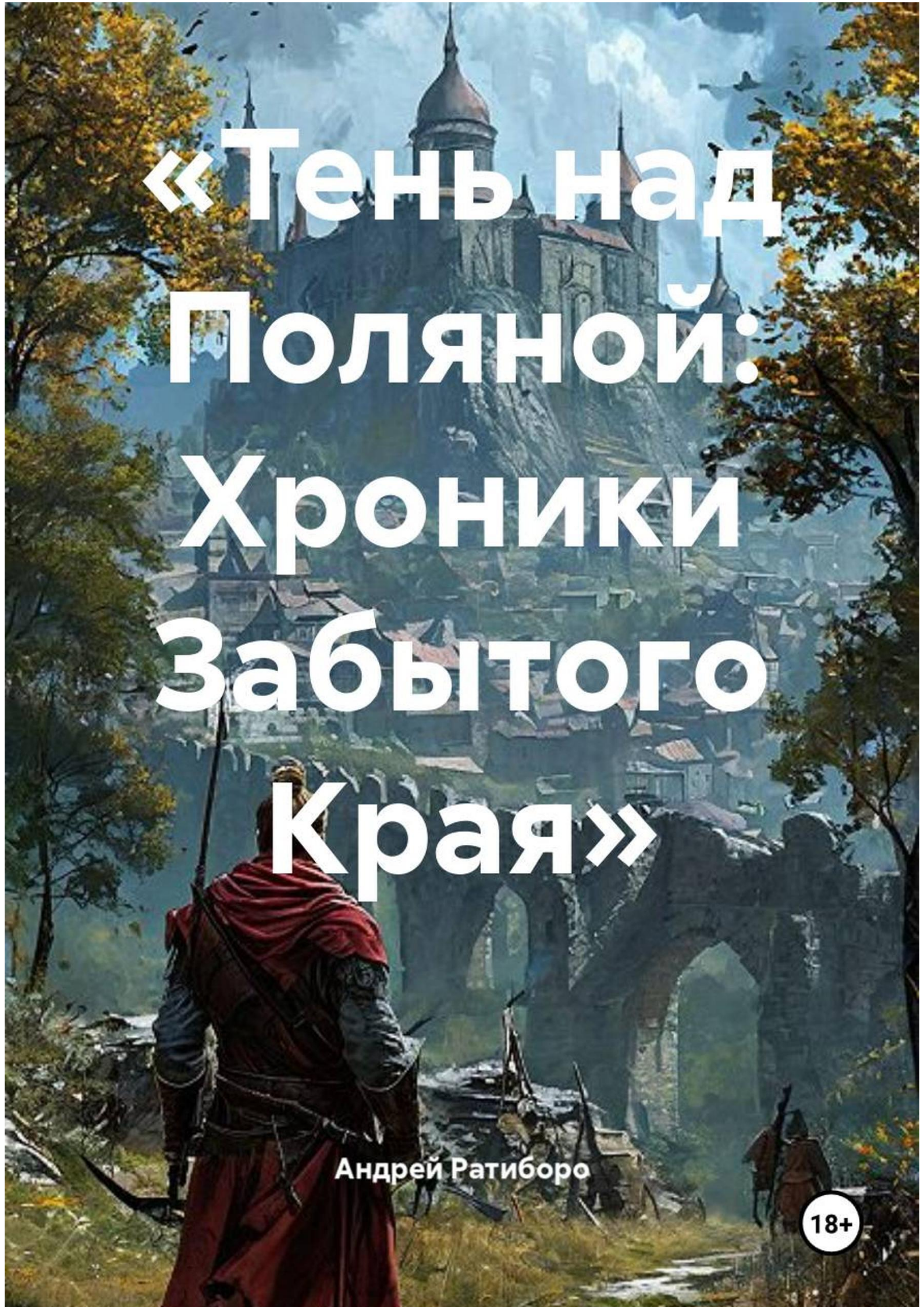


The background of the cover is a detailed illustration of a medieval fantasy world. In the foreground, a knight in a red surcoat and chainmail armor stands with his back to the viewer, looking towards a distant castle. The castle is built on a high, rocky hill and features multiple towers with conical roofs. Below the castle, a small town with red-roofed houses is nestled in a valley. The scene is framed by trees with autumn-colored leaves. The sky is blue with some clouds and a few birds flying.

«Тень над Поляной: Хроники Забывтого Края»

Андрей Ратиборо

18+

Андрей Ратиборо

**«Тень над Поляной:
Хроники Забытого Края»**

«Автор»

2026

Ратиборо А.

«Тень над Поляной: Хроники Забытого Края» / А. Ратиборо —
«Автор», 2026

«Тень над Поляной: Хроники Забытого Края» — мрачная фантастическая сага о борьбе за себя. Парень из 1996 года внезапно оказывается в 1736м — в суровой Бузулукской крепости, где граница между мирами истончена, а древнее зло питается страхом и забвением. Без шанса на быстрое возвращение Андрей учится выживать в чужом времени: держать строй, прикрывать товарищей и главное — не потерять себя. Его единственное оружие — память: пока он помнит, кто он, тьма не может его поглотить. История о том, как простое «я помню» становится сильнее проклятий, а дом — это не только место, но и люди, чью спину ты прикрываешь.

© Ратиборо А., 2026

© Автор, 2026

Андрей Ратиборо

«Тень над Поляной: Хроники Забытого Края»

Глава 1.

Две монеты

Я родился в Бузулуке в те годы, когда земля еще не просохла после большой войны, а асфальт на улицах пах дешёвым бензином и какой-то въевшейся в подворотни тоской. Наш город будто нарочно игнорировали на картах. Время здесь тянулось лениво и густо, словно подогретая патока, а из бескрайней степи вечно несло сухой пылью и чьими-то забытыми грехами. Меня называли Андреем. Но имя — просто ярлык, бумажка, приклеенная к свёртку, который должен был сгнить в пелёнках ещё до первого осознанного вздоха. Кто-то наверху, пьяный и безучастный, швыряющий кости с человеческими судьбами, почему-то передумал. Или просто ошибся в расчётах. В младенчестве я должен был умереть дважды. Первый раз всё случилось зимой в нашей хрущёвке. Мне едва исполнилось несколько месяцев. Лихорадка жгла меня так, что я казался матери горячей свечкой. Руки у неё тогда совсем огрубели от ледяной воды и бесконечной стирки. Она молилась всем святым, каких могла вспомнить, но в комнате пахло не ладаном, а кислым молоком, потом и подступающей темнотой. Моё сердце — этот крошечный упрямый барабан — стало сбиваться и затихать, будто в часах кончилась пружина. Тьма у дверей уже тянула к кровати свои холодные пальцы. Но что-то щёлкнуло. Случайность или слепая удача, но барабан застучал снова. Я выжил. самого момента я, конечно, не помню, но шрам остался внутри — будто кто-то прижал к моему лбу ледяную монету. Второй раз вышел хуже. Я уже ползал по засаленным коврам, исследуя углы. Глупая детская игра, в которой я остался один. Я сорвался с высоты — для взрослого смешной, для ребёнка — смертельной. Голова пришлась точно об угол тяжёлого стола. Мир вокруг разбился. Кровь, тёплая и густая, хлынула на пол, смешиваясь с вековой пылью. Жизнь просто вытекала из меня. В памяти остался только звон — тонкий, пустой, как от разбитого стакана, и странное ощущение, будто кто-то невидимый ухватил меня за пятки и тащит вниз, сквозь половицы, в глухой нежилой подвал. Но они снова передумали. Сказали: «Рано». И я остался. С тех пор я рос с чётким чувством, что я здесь чужой. Контрабанда, которую по недосмотру пропустили через таможенную жизнь. В школе стало только хуже. Классы пахли хлоркой, мокрыми тряпками и вечным страхом перед завучем. Всё это казалось мне дешёвыми декорациями. Вокруг шумели дети, дрались за гаражами, разбивали носы, плакали и мирились. У них всё было настоящим, громким. А я существовал в вакууме. На уроках я часами залипал в окно, туда, где за крышами плавилось тяжёлое степное солнце. Казалось, прижмись я к стеклу чуть сильнее — оно растает, и я провалюсь в серую изнанку, откуда меня когда-то выдернули. Учителя считали меня странным, вещью в себе. Тихий мальчик со взглядом старика. Они ведь не знали, что по ночам темнота, выползавшая из-под плинтусов, начинала со мной говорить. Это не был голос, скорее низкий гул, от которого закладывало уши, будто стоишь под высоковольтной линией в мороз. На краю кровати этот гул уплотнялся в зыбкий силуэт. Я называл его Тенью. Страх не было. Среди картонных, ненастоящих людей Тень казалась единственным осязаемым существом. От неё веяло тем самым могильным холодом. — Зачем? — спрашивал я в пустоту. — Зачем меня вернули? Она не отвечала. Но в девять лет впервые повела за собой. Это было в августе. Степной ветер принёс в город удушливый запах горящих торфяников. Тень скользнула к двери, замерла у замочной скважины и ушла в щель. Я оделся и, стараясь не скрипеть паркетом, чтобы

не разбудить мать, повернул ключ. В подъезде тускло горела единственная лампочка. Тень перетекала со ступени на ступеньку, словно невидимый поводок. Мы вышли на улицу. Бузулук спал под чёрным небом. Фонари работали через три на четвертый, выхватывая куски разбитого асфальта. Мы шли дворами к частному сектору. Здесь, среди покосившихся заборов и гнилых деревянных изб, время умирало окончательно. Морок полз прямо из степи. Тень замерла у низкого дома с заколоченными окнами. На крыльце горела старая керосинка — дикость для того времени. Тень скользнула под деревянный настил и пропала. — Ну чего застыл? Заходи, раз пришёл, — прохрипел из темноты прокуренный голос. На свет вышел старик в засаленном ватнике. Несмотря на августовскую духоту, он был застёгнут на все пуговицы. Его глаза были белыми, подёрнутыми мутной плёнкой катаракты. Абсолютно слепой. Но смотрел он точно на мой лоб, туда, где под волосами прятался багровый след от удара об стол. — Двоедушник, — сплюнул старик, садясь на корточки. Чертыхнулся, затягиваясь самокруткой. Дым косяком пошёл мне в лицо. — Дождался я тебя. Смерть-то мимо прошла, косой махнула, да только воздух рассекла. Думаешь, живой? Чёрта с два. Ты одной ногой всё ещё там, в подвале, паря. А Тень твоя — это та часть тебя, которую ты на том свете впопыхах позабыл. Она за тобой ходит, караулит. Да только боги велели тебе здесь побыть. Садись. Учить тебя буду, пока время есть. Я отступил на шаг. Прохлада пробиралась под тонкую пижаму. Старик затянулся, и огонёк самокрутки вспыхнул, как злой глаз. — Думаешь, подарок? Особенным себя возомнил? — дед Матвей — так его звали — зашёлся в лающем кашле. — Это проклятие, малец. Чистое, без примесей. За то, что ты тут дышишь, твоя Тень сожрёт всё, до чего дотянется. Живые люди рядом с тобой не согреются. Мать твоя... видишь, как чахнет? Тень из неё соки пьёт, чтобы в тебе этот недогоревший костёр поддерживать. Друзей у тебя не будет. Бабы, если и свяжутся, увянут на глазах, как полынь сорванная. Ты — дыра в заборе между этим миром и тем. А из дыры всегда сквозит ледяным ветром. У меня перехватило горло. Я вспомнил серое лицо мамы и её вечный кашель на кухне. Неужели это я? Паразит, высасывающий из неё дни просто потому, что не сгнил в младенчестве? Матвей разжал кулак и вложил в мою ладонь что-то тяжёлое. Это был старый кованый гвоздь, согнутый полукольцом, шершавый от ржавчины. Но стоило мне сжать его, как гул в ушах стал тише. — Из оклада старой церкви, которую в тридцатых взорвали, — буркнул старик. — Железо мёртвое, калёное. Оно Тень твою на привязи удержит. Из Бузулука не уезжай. Степь тебя держит. Уйдёшь — Тень сорвётся, и тогда хана. А теперь пошёл вон. Домой беги. Завтра мать проснётся, увидит, что ты бледный — опять плакать будет. Нехотя он повернулся спиной, укутался в ватник и будто превратился в кучу старого тряпья. Керосинка над головой звякнула и погасла. Я бежал назад не разбирая дороги. Гвоздь впивался в кожу до крови. В девять лет моё детство кончилось. Под одеялом в своей квартире я прижал железку к груди. Тень сжалась в углу, превратившись в обычное пятно. Через полчаса за скрипели половицы. Мать подошла, поправила одеяло. Её рука, пахнувшая дешёвым мылом, коснулась моего шрама. Она тихо прошептала: «Господи, сохрани его», перекрестила меня и ушла, сдерживая кашель. Я лежал и вытирал слёзы о жесткую подушку. Она молилась о моём спасении, не зная, что это спасение её и убивает.

Глава 2.

Письмо из подпола

Теперь я взрослый мужчина. Всё тот же Андрей из Бузулука. Мои шрамы не видны проходим, но душа от них давно онемела. Иногда, когда над городом повисает глухая предрассветная тишина, а на переезде уныло воют тепловозы, я чувствую смерть за спиной. Она не ушла. Она просто выжидает, когда я совершу ошибку, оступлюсь, забуду, что я — всего лишь неисправленный черновик Вселенной. Город помнит меня. И в последнее время эта память стала слишком осязаемой. Чернота, о которой твердил Матвей, начала сочиться сквозь асфальт. Сна-

чала в округе пропали все бродячие собаки — те самые, что годами смотрели на меня слишком умными глазами. Потом в степи, прямо за окраиной, земля провалилась. Из этой воронки по ночам валил густой, вонючий пар, пахнувший тухлой водой. Тень вела себя скверно: металась по стенам, вытягивалась к окну. Будто там, между хрущёвками, бродило что-то огромное и очень голодное. Я сидел на кровати, крутя в пальцах гвоздь Матвея. За годы он отполировался до матового блеска, стал продолжением руки. Мать умерла пять лет назад — тихо высохла, как трава в июле. Старик тоже пропал, его изба стояла заколоченной. Я остался один. Вдруг посуда в серванте зазвенела. Из-под земли пошёл низкий, вибрирующий гул. Тень стрелой метнулась по стене и указала точно в пол, под мои ноги. Линолеум треснул с сухим хрустом. Из щели потянуло гарью, старым торфяным пожаром и могильным холодом. Разлом пошёл дальше, ломая старые доски. Но внутри, между лагами, в вековой пыли лежало кое-что ещё — тяжёлый свёрток в промасленной рогоже. Я опустился на колени, разодрал пальцы о щепки, но вытащил его. Пахло мазутом и тем самым едким табаком деда Матвея. Значит, дед запрятал это сюда ещё до того, как дом построили. Внутри свертка оказалась старая тетрадь в телячьей коже и латунный ключ с тремя бородаками, покрытый зелёным налётом. Бумага крошилась. Текст был написан фиолетовыми чернилами, размашисто, в спешке. «Тому, кто держит гвоздь. Если ты читаешь это, Андрей, значит, земля под городом зашевелилась. Твоя мать молилась, но она не знала, что я сам принёс тебя на алтарь. Вторая смерть не была случайностью. Я выкупил тебя у Тени. Твоя душа раскололась: половина в теле, половина — стала Тенью, твоим стражем. Ей нужно топливо, поэтому живые рядом с тобой чахнут. Прости, парень. Без стража изнанка давно бы сожрала Бузулук». В горле встал комок. Вся моя жизнь, одиночество, смерть матери — всё это было ценой за то, чтобы этот Богом забытый город продолжал коптить небо. «Тень сдерживала холод, пока в степи не начали бурить новые скважины. Нефтяники вскрыли пласт, который нельзя было трогать. Баланс рухнул. Твоя Тень беснуется, потому что этот холод идёт за ней. Иди в старое железнодорожное депо, к заброшенной ветке. Ключ откроет подсобку под ремонтной ямой. Там лежит то, что я не успел вернуть. Если не закроешь проход до того, как пар дойдёт до жилых домов, Бузулук станет склепом. Смерть заберёт долг у каждого. У тебя — первым». Тетрадный лист обрывался какими-то тёмными каплями. Пол под ногами снова трянуло, трещина разошлась шире. Медлить было нельзя. Я сунул дневник и ключ во внутренний карман, сжал гвоздь в кулаке и повернулся к углу: — Пошли. Тень скользнула по потолку и упала к моим ногам. Я вышел в ночь.

Глава 3.

Сестра

Мы никогда не жили богато. Наш старый дом на окраине, покосившийся, как пьяница после недели запоя, стоял там, где разбитый асфальт окончательно уступал место корням старых дубов. Из подвала вечно несло сыростью, дешёвым мылом и чем-то приторным, застоявшимся. Мы называли это «запахом дома». Моя старшая сестра Елена была единственным светлым пятном во всём этом сером болоте. Волосы цвета спелой ржи густой волной падали на плечи, а глаза — зелёные, как лесной мох — казалось, видели то, чего я в детстве не мог даже осознать. Она всегда защищала меня. Была моей настоящей, земной тенью, пока за дверями сгушался чужой морок. До семи лет я постоянно болел. И это был не просто грипп. Ночью, когда мать засыпала тяжёлым, мёртвым сном, кто-то начинал шептать мне прямо в ухо. Врачи приходили, хмурились, смотрели на меня со странной опаской. От них пахло спиртом и безнадёжностью. Они уходили, а я оставался в кровати, где стены дышали, а тени в углах шевелились, стоило мне моргнуть. Но я выжил. Так выживают те, кто слишком много видит, но помалкивает. Помню дни, когда внутри всё горело так, словно кто-то вырывал из меня куски живого мяса, вставляя вместо них холодные железки. Елена сидела рядом часами. Держала за руку и тихим голосом рассказывала сказки про драконов и принцесс, которые никогда не умирают.

Её вера была моим щитом. Только тьма ведь не уходит насовсем. Она ждёт, пока твои кости окрепнут, а душа, наоборот, станет податливой и слабой. Сегодня, когда я смотрю на капли дождя, стучащие по стеклу, я понимаю: та детская болезнь была не недугом. Это было приглашение. В мир, где Елена больше не сможет закрыть меня собой. Где тени оживают, а каждый шорох в коридоре — это шаги тех, кто пришёл вернуть меня обратно. Я знаю, они придут. Но страха больше нет. Я видел лицо этой болезни. Оно точь-в-точь как моё собственное. Дорога к депо как раз шла мимо нашего старого дома. Я думал, он давно пуст, но в окне гостиной тускло горел свет. Дверь скрипнула прежде, чем я поднялся на крыльцо. Из темноты прихожей на свет фонаря вышла женщина. Те самые ржанные волосы, только густо тронутые ранней сединой. И те же моховые зелёные глаза, полные застарелой тоски. Она не сбежала из Бузулука. Осталась караулить обломки нашего детства. — Всё-таки пришёл, Андрей, — её голос прошелестел, как сухая трава в степи. — Земля под депо ходит ходуном. Мы почти опоздали. Моя Тень при её появлении испуганно вжалась в мои ботинки, прикинувшись обычным куском ткани. Тварь, которая годами жрала людей, пасовала перед взглядом сестры. Елена всегда видела изнанку, и город, кажется, считался с ней. Я сжал гвоздь в кармане. В голове крутились слова Матвея о том, что живые рядом со мной не согреются. Глядя на её седину, я появлял, какую цену она заплатила за то, чтобы я дышал. — Елена, зачем ты здесь? Старик говорил, что я опасен для вас. — Старик много болтал, — она горько усмехнулась. — Думал, вырастил идеального цепного пса, а про семью забыл. Я была твоей защитой задолго до того, как эта чёрная дрянь заняла моё место. Ключ у тебя? Я достал позеленевший латунный ключ. Елена посмотрела на него и повернулась в сторону путей, откуда на депо уже валил ледяной, маслянистый туман, пахнувший тухлой водой. — Идём вместе. Если не запрём эту черноту под ремонтной ямой до рассвета, города больше не будет. Мы пошли по поржавевшим рельсам. Жёсткий бурьян цеплялся за ноги, словно руки мертвецов. Воздух леденел. Туман наползал тяжёлыми волнами, двигаясь против ветра. За сто метров до ангара он резко взметнулся вверх, отрезая нас от города. Все звуки пропали, остался только шёпот в этой белёсой жиже. — Андрей! — крикнула сестра, но её голос прозвучал глухо, будто издалека. Серая стена уплотнилась, разделив нас. Тень за спиной бешено взвилась чёрным веером, пытаюсь разорвать морок, но туман давил со всех сторон. В этой круговерти замелькали безликие, стёртые фигуры. Они тянули ко мне руки, и шрам на лбу обожгло дикой болью. Я выставил вперёд руку с гвоздём деда Матвея. Старое церковное железо тускло замерцало багровым. — Назад! — рякнул я, рассекая пустоту. Туман шипел, как вода на раскалённой сковороде, неохотно отступая. Но серая масса продолжала давить, увлекая меня всё дальше вглубь ангара, прочь от сестры. Изнанка Бузулука пришла за своим главным долгом.

Глава 4.

Бабушкин корабль Всё началось совсем не так, как пишут в книжках, где ангелы с золотыми крыльями спускаются с небес ради спасения избранных. Моя история началась с кашля. С влажного, отрывистого звука, который разносился эхом по пыльным коридорам бабушкиного дома. Я был тогда совсем маленьким, с кудрявой непослушной головой, казавшейся мне целым миром. Мать, Тамара Васильевна, чьи глаза всегда были полны усталости и любви, привозила меня на эту окраину всякий раз, когда очередная болезнь сводила меня на нет. И в тот раз, когда лихорадка попыталась сожрать меня изнутри, мне, как ни странно, повезло. В доме у бабушки, Ольги Фёдоровны, — старом, скрипучем, похожем на застрявший во времени деревянный корабль — жили две девушки-квартирантки. Разумеется, они не были ангелами. Они оставались живыми, дышащими, пахнущими духами, табаком и чем-то неуловимо запретным. Для ребёнка этот запах означал саму суть взрослой жизни. Я лежал в постели, замотанный в лоскутное одеяло, и слушал. Стены в доме были тонкими, как бумага, и за ними протекала чужая, непонятная мне жизнь. Там голоса звучали мягче, а смех звенел с каким-то особым

подтекстом, о котором я тогда и не догадывался. Именно в те дни, когда жар наконец начал отступать, уступая место странному, сладкому ознобу, любовь к женскому полу сделалась моей первоочередной, всепоглощающей страстью. То была не просто детская симпатия — скорее тьма, в которую отчаянно хотелось упасть, и одновременно свет, который требовалось обнять. Одну из девушек звали Таня. У неё был низкий, бархатный голос, напоминавший гитарную струну, настроенную на самый глубокий лад. Вторая, Света, смеялась так, будто знала важный секрет, от которого у меня внутри замирало сердце. Когда они проходили мимо моей приоткрытой двери, я затаивал дыхание. Пытался поймать, впитать в себя шлейф их кожи и волос. Тогда я ещё мало что понимал. Списывал всё на обычное детское любопытство. Но это было лишь начало — искра, из которой со временем разгорится пожар, способный выжечь дотла всё на своём пути. Вечерами, когда Ольга Фёдоровна засыпала, а дом окончательно погружался в тишину, я подолгу слушал их шёпот за стеной. Он баюкал меня, как древнее заклинание. В своих фантазиях я представлял Таню и Свету не обычными людьми, какими они являлись на самом деле, а идеальными, почти мифическими фигурами. Мне казалось, они пришли, чтобы спасти меня от вечного одиночества, изматывающей болезни и самого себя. Но глубоко внутри, в самых тёмных закоулках детского сознания, я уже тогда улавливал: эта игра воображения — не простое развлечение. То было первое предзнаменование. Иногда, когда лунный свет косо падал в окно, тени на обоях начинали двигаться. Они плавно танцевали, принимая пугающие, ломанные формы, которых в нормальном мире существовать не должно. Именно тогда я начал смутно догадываться, что зарождающееся во мне чувство — гораздо больше обычных детских грёз. Из лоскутного одеяла тянулась невидимая нить, связывающая меня с чем-то очень древним. С силой, которая давно обжила этот скрипучий дом, этот глухой город и саму ткань бузулукской реальности. Став взрослым мужчиной, я часто мысленно возвращался в ту комнату. Навсегда запомнил шлейф дешёвых духов, приглушённый смех и то, как сердце испуганной птицей билось в грудной клетке. Но вместе с этим в памяти намертво отпечатались и то, что скрывалось за внешней романтикой: караулившие меня по углам сумерки и чужие голоса в ночной тишине. В конце концов я усвоил этот урок: любовь — далеко не всегда спасительный свет. Порой это прожорливая бездна, которая притягивает к себе вопреки воле, заставляя в упор смотреть в глаза собственным первобытным страхам. Там, в старом доме Ольги Фёдоровны, рядом с двумя девушками, ставшими моими первыми невольными музами, я впервые прошёл это крещение. Теперь, когда я сижу в кресле, глядя на барабанившие по стеклу капли затяжного дождя, ко мне возвращается то самое детское предчувствие. Всё пережитое в прошлом являлось лишь затянувшимся вступлением. Началом истории, которой только предстоит случиться. И я знаю, что её финал окажется таким же пугающим, прекрасным и абсолютно неизбежным, как сама любовь.

Глава 5.

Казачья кровь Мои предки были казаками. Дед, Иван Антонович, любил повторять, стоя на крыльце: «Мы казаки, с нами Бог! Так и живём, и жить будем». Доски под его сапогами скрипели, словно кости старого коня, которому давно пора на убой. Иван Антонович говорил это, когда небо над степью сжималось в серый свинцовый ком, а ветер начинал выть так, будто сквозь щели в заборах пробирался сам дьявол в поисках живой души. Повторял и поправлял на груди крест, тускло отливавший старым никелем. Но я-то знал правду. Я знал то, о чём дед помалкивал: про вещь, которая спала в земле прямо под нашими подошвами, в корнях дубов у колодца. Бог — этот великий всемогущий старик — иногда просто не замечает нас. Или смотрит сверху вниз с тем же выражением лица, с каким человек разглядывает муравейник, прежде чем опустить на него тяжёлый каблук. Вчера ночью я услышал, как кто-то ходит по крыше. Это точно был не ветер — ветер не делает пауз. Сверху доносились тяжёлые, влажные шаги. Хлюп-шлёп. Хлюп-шлёп. Будто кто-то тащил за собой огромную мокрую тряпку размером с

человека. Я тихо вышел на крыльцо. Из дома доносился ровный, уверенный храп Ивана Антоновича, похожий на удары кузнечного молота. — Дед? — позвал я. Голос прозвучал хрипло, будто я глотнул песка. Никто не ответил. Только степь вокруг — бесконечная, чернильно-чёрная степь, где трава шелестела на языке, которого я не знал, но который понимала каждая клетка моего тела. И тогда я увидел его. Он стоял у края поля, там, где раньше была снесённая в сорок третьем деревня. Существо было слишком высоким. Его одежда напоминала изорванную казачью шинель, но соткана она была не из ткани, а из чего-то тёмного, пульсирующего, как живая плоть. Лица не было. Там, где полагалось быть глазам и рту, блестела гладкая чёрная поверхность — зеркало, способное отразить только твою собственную смерть. — С нами Бог... — прошептал я, и слова застряли в горле раскалённым углём. Существо повернулось. Оно не сделало ни движения, но миг оказалось прямо передо мной. Воздух вокруг него потяжелел, налился гнилью и старой кровью. — Бог ушёл, — раздался голос. Он звучал не из темноты, а прямо внутри моей головы, будто кто-то шептал, пробравшись в черепную коробку. — Бог ушёл, когда вы начали стрелять друг в друга. Когда жгли дома. Когда забыли, что земля помнит всё. Я хотел бежать, закричать, перехватить дедовское ружьё и выстрелить в эту чёрную бездну. Но ноги налились свинцом. Пригвождённый к доскам крыльца, я мог только смотреть, как существо медленно наклоняется ко мне. — Мы казаки, — прохрипел я, отчаянно пытаясь нащупать в себе ту самую сталь, что была у Ивана Антоновича. Существо замерло в шаге от меня. Его безликая чернота склонилась к моему лицу. — Вы казаки, — повторил голос с какой-то злой, искалеченной усмешкой. — Но вы забыли, кто здесь хозяин. Бог ушёл. Теперь здесь только мы. И мы очень голодны. Оно подняло руку. Но это была не рука — пучок длинных чёрных шупалец, покрытых чешуёй. Они шевелились и извивались, как змеи. Я зажмурился и замолился. Так, как молился дед, как молились все мои предки до него. Но в ответ услышал лишь смех. Этот звук напоминал треск ломающегося дерева, хруст костей и разрыв живого сердца. И тогда до меня дошло. Иван Антонович верил, но он не знал. Бог далеко, в своих чистых небесах, где нет нашей грязи, холода и ужаса. А здесь, на этой проклятой земле среди глухой степи, мы брошены. И то, что коснулось моего лица могильным холодом, что несло в себе запах тления и первобытного страха, — вовсе не Бог. Это то, что приходит, когда вера высыхает до дна. — С нами Бог... — выдохнул я в последний раз, чувствуя, как темнота затаскивает меня в себя. — Нет, — прошептал голос в моей голове. — Теперь мы с вами. И степь закричала.

Глава 6.

Тень за школьной дверью Семь лет. Этот возраст стал для меня не началом пути к свету разума, а приговором, вынесенным так же безапелляционно и сурово, как и всем детям, которых в те годы загоняли в школьные классы. Особой жадности к знаниям я не испытывал. Я был просто мечтателем, чей внутренний мир оставался гораздо красочнее серых панельных пятиэтажек и покрытых мелом досок. Пока другие первоклашки с трудом зазубривали цифры, я видел, как они оживают, превращаясь в крылатых существ и унося меня в страны, которых не было на картах. Школа казалась огромным скучающим чревом. Оно должно было переварить мою мечтательность и выдать на выходе послушного, предсказуемого винтика для государственной машины. Учителя, особенно строгая Галина Ивановна, смотрели на меня сквозь толстые стёкла очков с подозрением. Будто я мог вотвот взорваться или заговорить с пустотой. А тени в старом здании были по-особенному живыми. Когда на улице темнело, они растягивались по полу коридора длинными худыми пальцами, тянущимися к моим щиколоткам. — Сосредоточься, Андрей! — кричала Галина Ивановна, и её голос напоминал скрежет мела по доске. Но сосредоточиться я не мог. В моих мыслях школа превращалась в замок древних чудовищ, а парты — в скалы, с которых я управлял бурями, а не уроками простой арифметики. Повседневность казалась слишком плоской, налитой правилами, запретами и серостью.

Я бежал от неё в собственные грёзы, где не существовало нудных диктантов, а небо было бесконечно выше. Иногда, когда я закрывал глаза, мне чудилось, что школа тоже начинает подстраиваться под мои фантазии. Стены едва заметно дышали, половицы скрипели, словно под ними кто-то ходил, а в углу класса сгущалось пятно, которое не принадлежало никому из нас. Именно тогда, среди монотонного бубнежа учителей, я начал догадываться, что дело не в богатом воображении. Я не просто выдумывал. Я был тем, кто видит изнанку, затаившуюся за ширмой обыденности в ожидании своего часа. Я ждал этого часа, зная, что однажды фантазия станет реальностью. А реальность всегда была слишком узкой для таких, как я.

Глава 7.

Тень над школьным коридором За время учёбы в школе, с 1982 по 1990 годы, друзьями я так и не обзавёлся. Их у меня просто не было. Была лишь серая, бесконечная очередь из одинаковых дней, пахнущих меловой пылью, сыростью старых учебников и тем самым неуловимым запахом страха, который висел в воздухе, как туман над остывающей степью. Я сидел за последней партой, в углу, где тени от оконных рам падали длиннее и гуще. Мои одноклассники казались куклами, насаженными на невидимые нити. Они дёргались в унисон: смеялись, когда нужно было смеяться, аплодировали, когда требовалось аплодировать. Но стоило мне попытаться протянуть руку или сказать простое «привет», как воздух вокруг сгущался, превращаясь в желе. Их взгляды скользили по мне, как по стеклу, не задерживаясь. Будто я был невидимым. Или, что ещё хуже, будто меня здесь вообще не должно было быть. Учительница, Марья Ивановна, с её неизменной красной косынкой и глазами, которые видели слишком много, но говорили слишком мало, часто смотрела на меня со странным выражением лица. Оно не было злым — скорее пустым, как стеклянный глаз манекена в витрине универмага. — Ты опять один, Андрей? — спрашивала она. Её голос звучал так, будто шёл со дна глубокого колодца, откуда никогда не возвращается эхо. — Да, Марья Ивановна, — отвечал я. И собственный голос казался мне чужим, тонким, готовым вот-вот порваться. Она молча кивала, и в этом движении сквозило предупреждение. Марья Ивановна знала, что в этом классе и в этом десятилетии я обречён на одиночество. Не потому, что я был плохим или замкнутым. Просто мир вокруг нас подпирали невидимые стены, которые никто не мог разглядеть, но каждый осязал кожей. Живые инстинктивно чувствовали идущий от меня холод. В 1985 году, когда всё вокруг начало меняться, когда привычные стены затрещали и воздух запах чем-то новым, тревожным, я всё так же сидел в своём углу. Но именно тогда я заметил, что под самой партой, у плинтуса, лежит кое-что ещё. Это был не оброненный клочок бумаги и не кусок мела. Там копошилось что-то тёмное, влажное и живое. Я не стал на это смотреть. Знал: если опущу глаза, то уже не смогу отвернуться ни от чего другого. Это был не просто предмет — под партой шевелилось то, что терпеливо ждало меня. То, что всегда оставалось рядом и делало меня тем, кем я был. Когда в 1990 году я наконец покинул школу, чувствуя, как за спиной захлопывается тяжёлая входная дверь, пришло окончательное понимание. Друзья у меня так и не появились — и никогда не появятся. Я не был создан для этого. Мой удел — наблюдать со стороны и видеть то, на что другие боятся даже взглянуть. В этом заключалась моя судьба. Проклятая, абсолютно одинокая судьба. Но я ни о чём не жалел. В тотальном одиночестве есть своя, ничем не разбавленная правда. И эта правда оказалась куда страшнее любой лжи, которую мне приходилось выслушивать за школьные годы. Я знал: если когда-нибудь и найду человека, способного меня понять, способного увидеть мир моими глазами, то между нами возникнет отнюдь не дружба. Это будет нечто гораздо более тёмное. Что-то, что в один миг перевернёт всё вверх дном. Я ждал этого момента. Ждал так, как затяжная зима ждёт своего неминуемого конца.

Глава 8.

Запах сирени

Время скоротечно. Оно течёт не как чистая вода в ручье, а как густая, липкая смола, затягивающая в свои объятия до тех пор, пока ты окончательно не увязнешь во времени. Дети вырастают мгновенно. Это не происходит постепенно, как обещают в учебниках; просто в какой-то день кто-то невидимый выдергивает привычную опору у тебя из-под носа, и ты очутился в новой, пугающей реальности. Ещё вчера я был маленьким Андрейкой с разбитыми коленками и сердцем, полным простых истин: мир — это безопасное место, а чудовища живут только под кроватью, если их туда сознательно не пускать. Но шнурок выдернули, и я подрос. Собственный голос стал хриплым и странным, словно принадлежал чужаку, а в груди поселилось что-то горячее и пульсирующее. Я начал заглядываться на девчонок. Они больше не были просто девочками из соседнего двора. Они стали загадками в коротких юбках, в чьих глазах отражалось что-то древнее, чего я ещё не мог осознать. Их смех звенел, как бьющееся стекло. Каждый раз, когда они проходили мимо, воздух вокруг тяжелел, пропитываясь ароматом цветущей сирени и чем-то ещё... чем-то сладким и одновременно гнилым. Знакомым духом бузулукской изнанки. Но меня воспитывали в строгости. Мой отец — Михаил Иванович, человек с лицом, словно высеченным из гранита, и взглядом, в котором никогда не оставалось места для сомнений, — часто повторял: — Молчи, Андрейка, если не знаешь, что сказать. Слово, брошенное не вовремя, способно убить. Я верил ему безоговорочно. Верил, что моя глухая робость — это надёжный щит, а неспособность заговорить первым с противоположным полом — высшая добродетель. И это было моей главной ошибкой. Каждый раз, когда я видел их — Ленку, Машу или ту, новую, с рыжими волосами, полыхавшими как степной пожар, — кровь в жилах закипала, а горло стягивало глухим узлом. Я отчаянно хотел сказать что-то совсем простое: «привет» или «ты красивая». Но буквы застревали, превращаясь в жгучий ком. Меня парализовало. Я панически боялся, что если открою рот, то мир рухнет. Что из груди вырвется не банальное приветствие, а что-то тёмное, необъяснимое, что оттолкнёт их навсегда. В этой парализующей робости я стал ловить на себе их взгляды. Они кололи, как швейные иглы. Девчонки видели моё безмолвное страдание. Замечали, как я дрожу, как пальцы сами сжимаются в кулаки, как я хочу сбежать, но не нахожу сил сдвинуться с места. Однажды солнце село слишком рано. Тень от старого дуба у дороги вытянулась, став длинной и зловещей. В тот вечер я всё-таки подошёл к ним. Плохо помню, как это случилось — я двигался напролом, ведомый силой, которая оказалась мощнее любого страха. Я замер в трёх шагах. Наш взгляд пересёкся. В их глазах не было привычного девичьего смеха — только глубокая, бесконечная пустота, которая буквально затягивала в себя. Я приоткрыл рот, надеясь выдавить хоть слово. Но вместо этого из горла вырвался звук, которого я никогда прежде не слышал. То был не крик, а свистящий, леденящий шёпот. Словно кто-то чужой заговорил, используя мои связки. — Ты не один, Андрейка, — выдохнул этот голос. В ту секунду я понял, что время не просто скоротечно — оно лжёт. И я больше не был тем мальчиком, что вчера. Я превратился в кого-то другого, кому заказан путь назад. Девчонки медленно улыбнулись. Но их улыбки не имели ничего общего с человеческими — они были хищными, оскаленными. Они знали правду. Знали с самого начала. Моя робость была лишь тонкой маской, под которой ворочалось нечто, жаждущее свободы. И теперь оно окончательно вырвалось наружу. Мир вокруг изменился. Я перестал быть тем, кем являлся, сделавшись тем, кем мне суждено было стать. Это пугало до судорог. Но в то же время ощущалось как неизбежность.

Глава 9.

Запрещённый удар 1990 год. Школа осталась позади, оставив после себя лишь въевшийся в пальцы запах мела и тусклый свет ламп накаливания, который в те годы, казалось, вообще никогда не гас. Я поступил в техникум. Там воздух был совсем другим — он пах ржавчиной, дешёвым табаком и каким-то общим, зависшим в коридорах страхом перед надвигающимся будущим. Но меня тянуло к вещам посерьёзнее студенческих забот. К боли. К силе. К тому, что

уже давно шептало мне из тёмных углов. К карате. В те годы это слово всё ещё отдавало запретом. Официально его не существовало, его считали ересью, чужеродным вирусом, способным заразить правильную душу советского юноши. Секции жили в подвалах, подсобках и заброшенных цехах, где бетонные стены были покрыты слоями чужого пота, а блёклый свет падал сквозь грязные, треснувшие стёкла. Но, несмотря на статьи в кодексе, оно манило всех. О нём шептались в столовых, слухи висели в воздухе, как запах озона перед грозой, готовой обрушиться на город ледяной ливень. Уговорить мать оказалось делом почти невозможным. Тамара Васильевна сидела за кухонным столом под мигающей лампой, которая будто предупреждала о чём-то дурном. Её лицо казалось совсем блёклым, осунувшимся от вечной усталости. — Карате? — переспросила она, и в её голосе проступил такой холод, что у меня перехватило дыхание. — Это ведь запрещено, Андрей. Чужое это, западная зараза. Путь в никуда. — Но это спорт, мама, — настаивал я, чувствуя, как внутри ворочается что-то тёмное и голодное. — Это сила. Защита. — Защита от чего? — Она подняла на меня глаза, и в её глазах мелькнул суеверный страх перед тем, чего она не могла понять, но инстинктивно караулила всю мою жизнь. — Думаешь, это тебя спасёт? Нет, сынок. Это только привлечёт к тебе то, что мы все тут стараемся не замечать. Я знал, что она права. Знал, что в Бузукуке есть вещи, которые лучше не тревожить. Но остановиться уже не мог. И в конце концов я сломал её сопротивление. Не доводами и не логикой, а тем глухим, чужим упорством, которое диктовала мне Тень. Сила внутри требовала выхода. — Хорошо, — сдалась мать, и в её голосе прозвучала окончательная капитуляция. — Но если ты попадёшь в беду... если ты попадёшь... Она так и не договорила. Да это было уже и не важно: мысленно я уже находился в том сыром подвале. Там пахло застарелым потом, железом и кровью. На побелке остались тёмные следы от частых ударов, а редкие лучи пробивались сквозь грязные подвальные окна, словно из другого, чужого мира. В полумраке зала ждал учитель. Старый, хромо́й мужчина со взглядом человека, который видел слишком много смертей. Он сидел на голом полу, скрестив ноги, и смотрел на меня так, словно я уже покойник. — Готов? — спросил он. От его спокойного тона по коже пробежали мурашки. Я молча кивнул. Я был готов принимать боль и встречать то, что должно было прийти. Карате с первой секунды не показалось мне спортом. Это были ворота в изнанку. Способ дотянуться до вещей, скрытых за ширмой нашей серой повседневности. Я сделал первый шаг по цементному полу. — Начнём, — произнёс хромо́й, и на его лице проступила зловещая, хищная улыбка, от которой содрогнулся бы любой уличный боец. И в подвале закипела ярость.

Глава 10.

Кости и железо Подвальные тренировки укрепили не только тело. Они переплавили дух. Боязнь окружающих — та самая липкая паника, которую ломающая советская система прививала детям с первых лет жизни, приучая видеть в мире огромного голодного зверя — ушла. Растворилась в холодном поту первых месяцев. Тяжёлая, осязаемая сила в руках быстро заставила техникум меня уважать. Но это было не то светлое чувство, о котором писали в школьных учебниках литературы. Однокурсники проявили уважение хищников, которые инстинктивно чувят чужие зубы и знают, кого трогать не стоит. В коридорах, пахнущих табачным дымом и мокрым сукном шинелей, я стал другим. Меня больше не пытались задеть. Меня избегали. В угасающем Советском Союзе, где будни были затянуты туманом идеологической серости, подрастал и креп ещё один солдат. Но я не походил на плакатных героев из газеты «Правда» или фильмов про правильных победителей. В моих жилах пульсировала не только кровь — там ворочалось нечто древнее, перекочевавшее в меня из тёмных углов подвального зала. Каждый удар по набитой опилками груше отзывался в сознании эхом. Каждая ссадина в спарринге, каждое жёсткое падение на брезентовый мат были не просто спортом. Это был ритуал. Медленное, последовательное очищение от человеческой слабости, от той детской дрожи, которая когда-то заставляла сердце колотиться при виде темноты под хрущёвским плитусом. Окру-

жающие думали, что я просто учусь махать кулаками. Они не понимали главного: я учусь быть. Быть тем, кто перестал бояться темноты по одной причине — я сам становился её частью. В моём взгляде теперь осело то глухое, злое упрямство, которое не могли загасить ни строгие преподаватели, ни затяжные бузулукские дожди. Я кожей чувствовал, как внутри разрастается что-то колоссальное. Что-то, что рано или поздно вырвется наружу, и тогда весь этот хрупкий мир, склеенный из картона и чужих иллюзий, затрещит по швам. Но пока я просто шёл по коридору техникума, и люди молча расступались, провожая меня испуганным шёпотом. Я стал воином. В предсказуемом, застывшем мире я оказался единственной ловушкой, которую никто не ждал. И эта перемена ощущалась правильно, как первый удар кузнечного молота по раскалённому добела железу.

Глава 11.

Тень над степью: Начало пути Ветер, шелестевший сухими колосьями пшеницы, нёс с собой запах пыли и забытых надежд. Это был май 1993 года. Воздух в Оренбуржье стоял густой, словно пропитанный ржавчиной от времени, стремительно катившегося вперёд. Оно оставляло позади рухнувшие империи и тщетно мечтало о несуществующем будущем. Мне исполнилось восемнадцать. В кармане пиджака, который уже не сидел по фигуре, лежал диплом техникума. Бухгалтер. Красивое, твёрдое слово, обещавшее порядок в хаосе, — цифры, складывающиеся в идеальные колонки. Но сухие цифры не знали, что такое голод, и не понимали, как пахнет пустой кошелёк в эпоху, когда ломалось вообще всё. — Ты должен ехать туда, — говорил отец, Михаил Иванович. Его голос дрожал, словно старый телефонный аппарат, который вот-вот навсегда отключится от сети. — Колхозы умирают. Им нужны люди, способные посчитать, что ещё осталось, а что уже ушло сквозь пальцы. Мать, Тамара Васильевна, не сказала ничего. Она просто молча поправила мне воротник рубашки, и в её глазах читался тот самый застарелый страх, от которого у меня мгновенно сжалось горло. Родители отпустили меня из Бузулука в глубь области не потому, что верили в мой успех. Просто выбора у нас не оставалось. Я сел в общий вагон поезда, который скрипел на стыках рельсов, как умирающее животное, и отправился навстречу судьбе. Степь Оренбуржья раскинулась передо мной бесконечным морем. Но волны в нём были сотканы не из воды, а из сухой, выжженной травы и серой пыли. Солнце палило беспощадно, превращая небо над головой в сплошное белое пятно, напрочь лишённое теней. Мой собственное страж в этот полуденный зной сжался до крошечной точки под моими подошвами. Когда поезд остановился в маленьком посёлке, где название было давно стёрто временем и дождями с дощатого указателя, я вышел на безлюдную платформу. Воздух здесь оказался горячим, почти осязаемым, сплавленным с мазутом и полыньёю. На перроне стояли редкие местные жители. Их лица были сморщены, словно старые, потёртые карты, на которых намертво отмечены пути, по которым уже никогда и никто не пройдёт. — Бухгалтер? — спросил старый мужчина, кутивший у входа в здание, которое когда-то служило домом культуры, а теперь напоминало заброшенный склад. — Мы тебя ждали. Я молча кивнул, чувствуя, как диплом во внутреннем кармане наливается свинцовой тяжестью. Бумага в моих руках означала ответственность за то, что уцелеет, когда всё остальное превратится в труху. Мы двинулись к конторе колхоза. Здание стояло на самом отшибе, окружённое заросшими полями, которые давно никто не засеивал. Стёкла в окнах кое-где выбило, а рассохшиеся двери натужно скрипели при каждом открытии. Внутри удушливо пахло застоявшейся сыростью и плесенью. — Здесь раньше было вообще всё, — старик неопределённо махнул рукой в сторону голых стен. — Теперь осталась только пыль. Я шёл за ним и понимал: это распределение будет не просто скучной работой, а настоящим испытанием на прочность. Мне предстояло на ощупь искать логику в чужом хаосе, пока весь привычный мир вокруг разваливался на куски. Поздним вечером я сел за исцарапанный стол в кабинете, когда-то принадлежавшем главному агроному. В углу едва заметно вибрировала Тень. На столе громоздились амбарные

книги и ведомости, которых никто не касался годами. Я раскрыл первую попавшуюся тетрадь, но знакомые мне до последнего штриха цифры вдруг показались абсолютно чужими, вывернутыми наизнанку. Они категорически не складывались в ровные колонки. Сводные балансы не имели никакого математического смысла. Из пожелтевших страниц проступала какая-то иная, пугающая закономерность. Но я упрямо продолжал вчитываться, зная, что обязан отыскать скрытую нить. Если я упущу её, последние крохи этого угасающего степного мира исчезнут без следа. За окном конторы расстилалась глухая, чернильная степь. Она терпеливо ждала. И я, восемнадцатилетний парень с зажатым в кулаке гвоздём Матвея, отчётливо понимал: это только начало. Начало пути, который перепишет меня до основания.

Глава 12.

Стульчики-зайчики

Случилось так, что поселили меня в старом здании, где ранее располагался детский сад. После распада Советского Союза, когда мир окончательно рухнул в хаос и просто забыл о нас, это место осталось невостребованным. Оно застыло во времени, словно глубокая рваная рана, которую никто так и не захотел зашить. Ключ в замке щёлкнул с сухим, резким звуком, будто кто-то переломил чужие старые рёбра. Я толкнул дверь и вошёл в коридор. Воздух внутри встретил меня густой, липкой тишиной, насквозь пропитанной застарелым воском, подвальной сыростью и чем-то ещё... Чем-то кислым и одновременно приторным, как гнилые яблоки, случайно забытые в кармане зимней куртки. Мне исполнилось восемнадцать, и я, чёрт возьми, давно не был ребёнком. Я умел перебирать моторы, мог вылакать стакан палёного спирта не поморщившись и никогда не боялся темноты. Или, по крайней мере, я искренне так думал, пока не переступил порог этого мёртвого здания. Стены здесь обклеили обоями в цветочек. Когда-то, наверное, они выглядели весело, но теперь пожелтели от сырости и пузырились, напоминая кожу старика, мучимого жестокой лихорадкой. На полу, под толстым серым слоем пыли, сиротливо торчали маленькие деревянные стульчики с вырезанными на спинках зайчиками. Они неподвижно застыли в пустоте гулких комнат, покорно ожидая детей, которые сюда больше никогда не придут. Я щёлкнул выключателем. Лампочки в старых плафонах нутужно замигали, мерцая, и наконец выдали тусклый, желтоватый отсвет. Он не столько разгонял мрак, сколько подчёркивал глубину углов. — Привет, — пробормотал я. Собственный голос прозвучал неестественно громко и чуждо в пустом коридоре. Ответом послужил лишь затяжной скрип половиц. Пол стонал под моими шагами, словно прогибался под тяжестью накопившегося здесь одиночества. Старое здание до самого чердака было пропитано детскими слезами. Я осязал это кожей, будто невидимая ледяная влага стекала по спине. Здесь годами плакали, когда рвали любимые игрушки, когда заставляли спать в тихий час, когда до судорог боялись темноты в дальнем туалете на втором этаже. Этот первобытный ужас маленьких существ не испарился со временем. Он намертво впитался в осыпающуюся штукатурку, в деревянные балки и в саму пыль, лениво кружащуюся в лучах ламп. Я прошёл вглубь коридора, к бывшей группе «Солнышко». Дверь была слегка приоткрыта. Внутри на детском столе всё ещё громоздились забытые раскраски. Рядом в беспорядке валялись цветные карандаши — осколки чьих-то разбитых маленьких мечтаний. Но на листах было нарисовано кое-что неправильное. Картинки не были пустыми. На них кто-то тупо вывел взрослые лица, искажённые гримасами дикой боли, с абсолютно пустыми, выжженными глазами. Стоило мне сдвинуться с места, как показалось, будто эти пустые глаза медленно поворачиваются вслед за мной. — Галлюцинации, — зло бросил я себе под нос, вытирая липкий пот со лба. — Просто усталость с дороги и испарения старой краски. Я заставил себя отвернуться. Но в углу комнаты, как раз там, где сиротливо застыла низкая кукольная кровать, обнаружилась Тень. Она не падала от мебели или оконной рамы — она существовала сама по себе. Высокая, истончённая,

как полуночный столб дыма, но плотная, словно литой бетон. И из этой чернильной густоты донёсся звук. Тихий, прерывистый, до боли знакомый плач.

Глава 13.

Группа «Солнышко»

Мой разум — надёжный щит восемнадцатилетнего парня — начал трещать по швам. Я точно знал, что в этом мёртвом здании никого нет. Видел пустые глазницы окон, слышал, как степной ветер завывает в печных трубах. Но этот плач за спиной оставался реальным. Он ощущался одновременно тёплым, как дыхание спящей матери, и обжигающе холодным, точно ледяная колодезная вода. Я попятился. Пятка споткнулась о что-то мягкое, податливое. Присев на корточки, я разглядел в тусклом желтоватом свете старую игрушку — ободранного плюшевого медведя. Единственный уцелевший стеклянный глаз покойного зверя был грубо выцарапан, а на матерчатой лапе темнело пятно. Не краска. Бурая, слишком густая и давно засохшая жидкость. Внезапно свет погас. Навалилась кромешная, непроглядная тьма, мгновенно ударившая по барабанным перепонкам. И прямо в этой черноте раздался смех. На этот раз плакало не дитя. Звук напоминал хрип человека, который пытается хохотать, сжимая в горле горсть битого стекла. — Ха-ха-ха... Я судорожно зашарил по карманам в поисках спичек, но онемевшие пальцы дрожали так сильно, что коробок просто выскользнул из рук. Впотьмах показалось, будто стены группы начали медленно сжиматься, сдавливая пространство, словно чей-то гигантский кулак. Внутри этого кулака я физически ощутил присутствие тысяч невидимых маленьких глаз, смотрящих на меня из углов с глухим, мертвенным осуждением. — Уходи, — прошепел голос, шедший, казалось, прямо из-под прогнивших досок пола. — Тебе здесь не место. Ты слишком большой. Ты слишком... старый. Я рванул назад к выходу, слепо шаря руками по косяку. Навалился плечом на дверь, но деревянное полотно даже не дрогнуло. Заперто. Причём не изнутри, а снаружи. Кто-то заколотил меня в этой коробке. Где-то в дальнем конце длинного коридора зашелестели маленькие босые ножки. Шлёп-шлёп-шлёп. Шаги быстро приближались, шлёпая по вековой пыли бывшего детского сада. Они бежали прямо ко мне.

Глава 14.

Местный

И впереди всего этого детского кошмара двигалась та самая Тень. Она стремительно росла, вытягиваясь вверх, пока не коснулась закопчённого потолка. Я рухнул на колени, слепо закрыв лицо руками. В моём голосе больше не осталось напускной уверенности взрослого парня — только чистый, первобытный ужас ребёнка, окончательно осознавшего, что монстр под кроватью никогда не был глупой сказкой. — Мы не ушли, — прошепел голос прямо у моего уха, обдав запахом гнилых яблок и застоявшихся слёз. — Мы ждали тебя. Блёклый свет мигнул в последний раз, на долю секунды выхватив из темноты десятки маленьких фигур. Они стояли плотным кругом, зажав меня в кольцо. Их бледные, как бумага, лица были лишены черт, вместо глаз зияли чёрные бездны, и все они скалились широкими беззубыми улыбками. А за их спинами, в самом дальнем углу группы, застыла она. Та, кто плакала. Та, кто нарисовала искажённые взрослые лица на листах бумаги. Тварь медленно протянула ко мне длинную костлявую руку с грязными, закрученными пальцами: — Пришло время играть. В ту секунду я поверил, что никогда не покину это здание. Оно проглотит меня, как степной зыбучий песок, сделав безмолвной частью своей жуткой истории. Свет погас окончательно. И начался новый день — вечный, бесконечный день в мёртвом саду, где дети никогда не взрослеют, а страхи никогда не заканчиваются. Шлёп-шлёп-шлёп. Шаги были уже вплотную. К моему счастью, кошмар оказался прерван. Выяснилось, что в соседней комнате этого заброшенного крыла поселили ещё одного человека, с которым мы быстро сошлись. Его звали Хома, но в разваливающемся кол-

хозе все звали его просто Местным. Хома был старше меня лет на десять, с лицом, намертво изъеденным степными ветрами и дешёвым куревом. Он знал каждый камень на этой умирающей оренбургской земле. Мы пили с ним водку каждый божий день — дешёвую, горькую, отдававшую чистой химией, которая жгла пищевод так, словно мы глотали раскалённые угли. Мы приводили разных женщин — и тех, кто случайно забредал в наше общежитие, и тех, кто жил в посёлке годами и не уезжал, кажется, лишь ради того, чтобы в угаре не слышать и не чувствовать происходящего по ночам в бывшем детском саду. Но палёный алкоголь не глушил звуки изнанки. Напротив, он лишь делал их отчётливее, будто кто-то выкручивал ручку радиоприёмника прямо внутри моей черепной коробки. По ночам детский сад оживал. Не в том смысле, что в пустых группах загоралось электричество — плафоны оставались мёртвыми. Здание просыпалось в тишине. В удушливой, свинцовой тишине, которая намертво давила на грудную клетку, заставляя сердце колотиться в неровном, паническом ритме. Я отчётливо помню ночь, когда Хома впервые обернулся ко мне и жёстко приказал: — Не смотри в окно. Никогда. — Почему? — хрипел я, откатываясь от него по скрипучим половицам. Запах, шедший от его ватника, был дикой смесью махорки и чего-то приторного, гнилого — точь-в-точь как те протухшие яблоки. — Потому что там они нас ждут, — прошептал Местный. Его глаза, обычно мутные и полуприкрытые после попойки, сейчас были широко распахнуты, налиты животным ужасом. — Они отнюдь не дети, приятель. И никогда ими не были.

Глава 15.

Правила игры

Я всё-таки посмотрел в окно. За стеклом, покрытым слоем жёлтой степной пыли, стояла глухая ночь. Колхозный пейзаж за день успел измениться до неузнаваемости. Деревья криво кренились к зданию, напоминая скрюченные пальцы старух. Их голые ветви мерно шевелились, хотя на улице не было ни малейшего сквозняка. А на игровой площадке, прямо у поржавевших качелей, застыли тени. Они были маленькими. Слишком маленькими для взрослых людей. Твари выстроились в ряд, повернувшись лицом к нашему окну. Вместо лиц у них белела гладкая серая кожа, туго натянутая на черепа — ни глаз, ни ртов. Но я кожей чувствовал, что они смотрят. Их ледяной, липкий взгляд слизью полз по моей спине. — Они хотят поиграть, — пробормотал Хома. Его голос ходил ходуном. — Всегда хотят поиграть. Если выйдешь к ним на площадку, станешь частью игры. Навсегда там останешься. Мы принялись глушить водку прямо из горла. Горло полыхало, спирт обжигал пищевод, но холод внутри меня только разрастался. Мы отчаянно пытались разговаривать, вспоминали какие-кие пошлые, смешные истории о бабах, с которыми спали днём. Надеялись перекричать этот вязкий шёпот. Но шёпот быстро перерастал в крик. Звук шёл прямо из стен. Сперва он походил на скрежет гвоздей по штукатурке, но затем превратился в жалобный, разрывающий душу плач. И в этом детском вое я отчётливо различил собственное имя. — Андрейка... — позвал голос из-под сгнивших половиц. — Выходи. Мы приготовили для тебя игрушку. Я истошно закричал, но Хома мгновенно навалился сверху и мёртвой хваткой сцапал меня за горло. Сжал так, что в глазах поплыли кровавые круги. — Заткнись! — зашипел Местный мне прямо в ухо. Его горячие слёзы капали на мою щеку. — Услышат, что ты в панике — и всё, нам хана. Они обожают страх. Он пахнет для них, как парное мясо для голодных волков. Я хрипел под его ладонью и смотрел ему в лицо. В глазах Хома застыл даже не ужас, а абсолютное, вековое отчаяние. Он прекрасно понимал: это конец. Старый детский сад, этот проклятый кусок оренбургской земли, никогда не отпустил постояльцев. Он их медленно переваривал. Внезапно хлипкая дверь нашей комнаты с грохотом распахнулась. Ледяной сквозняк, пахнувший гнилью и сырой землёй, ворвался внутрь, мгновенно задув единственную огарочную свечу. В крошечной тьме раздался звук маленьких шагов. Топ-топ-топ. Лёгкие, будто падение птичьих перьев, но каждый шаг отдавался внутри черепной коробки ударом тяжёлого кузнечного молота. Они были внутри. Я физически ощу-

тил, как что-то ледяное и совсем крошечное коснулось моей лодыжки. Снова закричал, но в ту же секунду окончательно осознал: дешёвая водка нас не спасёт. Случайные женщины не спасут. И Хома со всей его степной мудростью тоже никого не спасёт. Из темноты углов выполз глухой, раскатыстый хохот. То был не детский смех, а нечто запредельно древнее, искажённое, сплавленное из сотен чужих голосов, поглощённых этим зданием. — Начинаем игру, — прошеле-стел невидимый рот у самого моего уха. — Правила просты. Живым ты отсюда не выйдешь. Я до судорог зажмурился, но темнота под веками не принесла облегчения. Воображение упрямо дорисовывало то, чего я так панически боялся увидеть: безликие серые фигуры уже карабкались по одеялу. Одна из них устроилась на моих коленях, вторая — уселась мёртвым грузом на грудную клетку Хома. Их гладкие черепа застыли вплотную к нашим лицам, а ледяные, костлявые пальцы сомкнулись на горле, сдавливая дыхательные пути всё сильнее, пока остатки осязаемого мира окончательно не погрузились в чёрную, бесконечную тишину. А за окном, в непроглядной степной глуши, колхозные деревья мерно качали ветвями, словно аплодировали нашей капитуляции. Игра началась. И для тех, кто попал в Бузулук, она не заканчивалась никогда. К моему счастью, в ноябре 1993 года, пока я окончательно не спился и не тронулся умом, живя в заброшенном детском саду и работая в разваливающемся, Богом забытом колхозе, меня призвали в российскую армию. Зимний ветер в тот год выдался озлобленным. Он завывал в щелях, выискивая, кого бы придушить в первую очередь. До самой повестки я существовал в здании, где когда-то смеялись дети, а теперь лишь скрипели под тяжестью моих кошмаров половицы да звенели пустые бутылки. Стены покрылись густым слоем плесени, напоминавшей зелёные мохнатые пальцы, упрямо тянущиеся к моему горлу. Колхоз назывался «Заря» — злая ирония. Настоящая заря не восходила над здешними полями уже лет десять. Мы копали землю, которая казалась такой же мёртвой, как и мы сами, под началом председателя. В глазах этого человека горело такое дремучее безумие, что я порой боялся смотреть ему в лицо. Он без конца толковал о пятилетних планах, урожаях и великом будущем, но его сорванный голос звучал так, будто он зачитывал заклинания из старой книги, написанной кровью. Повестка из военкомата выдернула меня из этого ада в последний момент. Колхозный морок отступил, уступая место новой реальности — армейскому эшелону, стриженной голове и тяжёлым кирзовым сапогам. Земля Оренбуржья отпустила своего стража. Но я знал, что это лишь временная передышка.

Глава 16.

Серый ад

В один серый, дождливый вторник, когда небо нависло над колхозом «Заря», словно тяжёлое гнилое одеяло, за мной пришли. Два конвойных в форме, с лицами, искажёнными тем самым глухим безразличием, которое рождается в душе, когда видишь слишком много чужого дерьма. Они выросли перед дверью детского сада. Я физически ощутил, как мороз пробрался под куртку, заставив волосы на руках встать дыбом. — Ты, — коротко бросил один из них, ткнув в мою сторону пальцем. — Идёшь с нами. Я едва не расхохотался. Хотел сказать им, что давно перестал быть нормальным человеком, что намертво врос в это проклятое место вместе с плесенью и пустыми водочными бутылками Хома. Но слова застряли в гортани, как ком сухой степной земли. Меня бесперемонно взяли под руки. Я шёл к выходу, чувствуя, как разбитый асфальт уходит из-под сапог — будто сама оренбургская земля брезгливо выплюнула меня наружу. Дорога на призывной пункт оказалась долгой и изматывающей. Нас везли в кузове грузовика, который стонал и скрипел на колдобинах, как умирающий зверь. Внутри гулял ледяной сквозняк. Мы дрожали, но не от ноябрьской стужи, а от глухого, подступающего к горлу страха перед неизвестностью. Я тупо смотрел сквозь щель в брезенте: мимо проносились серые пустые поля, голые скелеты деревьев и редкие избы, казавшиеся вымершими. Их жители будто исчезли в один миг, оставив после себя лишь тишину, морок и пыль. Когда эше-

лон наконец доставил нас в часть, я понял, что угодил в ад. Но не в тот, книжный, со сковородами и серой. Этот ад был абсолютно серым, бетонным и бесконечным. Сержанты истошно орала, матерились, вбивали в нас устав табуретками и палками, но их глаза оставались такими же пустыми, как у безумного колхозного председателя. В новобранцах они не видели людей. Мы были для них просто номерами, безмянным пушечным мясом, призванным бездумно исполнять чужие приказы. По ночам я лежал на жёстких нарах, слушая, как хрипло храпит взвод, как кто-то тихо скулит во сне, утыкаясь носом в застиранную подушку. В эти часы мне казалось, что я уже мёртв. Что вся предыдущая жизнь в Бузулуке, школа, подвальное карате и угар в детском саду были затянувшимся бредом. А теперь я проснулся в настоящем мире, где не существует надежды, а есть лишь бесконечный холод, голод и распад. Но самое страшное караулило меня в караулах и на ночных дежурствах. Я начал замечать, что побеленные стены казармы при свете дежурных ламп начинают едва заметно шевелиться. Тени в углах ленинской комнаты сгущались, принимая ломаные, слишком знакомые мне формы. Голоса в голове, затихшие было на плацу, зазвучали громче, отчётливее. Они вкрадчиво твердили, что я не один. Что в этой части, среди сотен забитых солдат, затаилось нечто запредельно древнее и злое. И оно терпеливо ждёт, пока я окончательно сорвусь и потеряю рассудок. Именно тогда до меня дошло: армейская муштра — далеко не просто служба. Это глухая, бетонная ловушка. Местить, где человеческие души медленно забивают до смерти, а пустующие места занимают твари, выползшие из недр земли и из закоулков моего собственного сознания. Обратной дороги не существовало. Я понимал, что останусь в этом сером строю до тех пор, пока сам не превращусь в одну из безликих сущностей, охотящихся впотьмах за новыми жертвами. Но всё это — уже совсем другая история. Сухой отчёт о том, как один человека навсегда потерял себя в холодном ноябре девяносто третьего, найдя взамен нечто гораздо более худшее.

Глава 17.

Битва и боль

Служба в рядах российской армии с 1993 по 1995 год не имела ничего общего с плакатным «мужанием». Она за шкуру вырвала меня из угара оренбургской ссылки и швырнула в ледяную, грязную реальность. Там единственной ходовой валютой оставалась звериная выносливость, а единственным законом — тупая прихоть сержанта. В те годы дух не закаляли разговорами. Его методично выколачивали табуретками, вбивали сапогами и ломали палками по суставам до тех пор, пока он не переставал дрожать, превращаясь в монолитную, сухую кость. Я был бит. Жёстко, до кровавых соплей, без всяких метафор. Леденящий сквозняк в казарме промерзал до самого мозга, превращая спёртый воздух в острые иглы. Они глубоко кололи лёгкие при каждом вдохе. Намертво въевшаяся в обмундирование грязь, густо смешанная с потом и чужой кровью, покрывала кожу, словно вторая, дублёная шкура. И я бил сам. Иногда на ночных тренировках в каптёрке, когда кулаки с хрустом встречались с толстой деревянной доской. Но чаще это оборачивалось глухой битвой с самим собой. С подступающим желанием сдаться, со слабостью и с тем самым детским голосом в голове, который испуганно шептал, что я всего лишь мальчик, потерявшийся в лабиринте чужих жестоких правил. Тень внутри меня в эти минуты не была — она хищно скалилась, впитывая армейское насилие, как сухой песок впитывает воду. Бойцы вокруг меня походили на безликих призраков. Они молча блуждали по серым бетонным коридорам, где время наглухо застыло в фазе вечного, отупляющего ожидания. Мы быстро научились смотреть в глаза чужой смерти. Без паники, без жалости — с той абсолютной, звенящей пустотой, которая рождается лишь тогда, когда чётко осознаешь: человеческая жизнь — это грошовая стекляшка. И разбить её можно одним неосторожным движением. Мой взгляд на окружающий мир изменился под этими бесконечными гарнизонными дождями настолько сильно, что прежняя реальность стала чужой. Раньше деревья виделись просто деревьями, а небо — обычным синим холстом. Теперь в малейшем шевелении

веток я безошибочно угадывал скрытую угрозу, а в любой наползающей туче караулил предвестник шторма. Земное пространство сделалось глубже, опаснее, но вместе с тем — стократ честнее. Я навсегда перестал верить в сказки. Слишком часто видел, как люди ломаются под железным весом обстоятельств, как добрые слова в одну секунду превращаются в заточенное оружие, а затяжная тишина оборачивается вестником скорой грозы. Страх, который в детстве парализовал до судорог, теперь стал моим постоянным спутником и наставником. Он приучил меня к предельной бдительности, научил ежесекундно ждать удара — даже если тот прилетит в спину из темноты. Вместе с этим пришла уверенность. Не то пустое, надутое самолюбие, что свойственно глупым подросткам, а тихая, ломовая уверенность человека, который лично прошёл сквозь ад и умудрился выйти из него живым. Я точно знал, что способен выдержать любую боль, пережить леденящий холод и стоять на ногах даже тогда, когда колени подкашиваются от усталости. Эта тектоническая сила родилась в огне страданий, закалилась в ледяной воде караулов и окончательно отточилась в драках. Она не кричала о себе и не хвасталась перед строем. Она просто глухо присутствовала внутри — неподвижная, как каменная скала, и неотвратимая, как ход самого времени. Когда в девяносто пятом я наконец перешагнул КПП и оставил за спиной гарнизонную грязь, холод и кровь, обратного пути к тому робкому мальчику уже не существовало. Домой возвращалось совсем иное существо. Я до костей выучил истинную цену человеческой жизни и дешёвой смерти. Прекрасно понял, что мир вокруг никогда не будет добрым, но он всегда останется предельно честным в своей жестокости. И именно в этой безжалостной честности я окончательно нащупал свою настоящую силу. Бузулук встретил меня теми же серыми пятиэтажками и покосившимися заборами, но я видел его изнанку насквозь. Я смотрел на город глазами человека, который вылез из могилы, отряхнул землю с бушлата и пошёл дальше. И одного этого знания мне было более чем достаточно.

Глава 18.

Тень на асфальте

Свобода не успела даже раскрыть крылья. Отец зажал её в своей железной руке прямо на перроне, стоило мне сойти с подножки армейского эшелона. На дворе стоял 1995 год. Воздух в Бузулуке пах вовсе не весной и не призрачными надеждами новой эпохи. Он удушливо вонял дешёвым табаком, сырой нефтью, палёным бензином и глухим, подступающим страхом. Город вокруг тоже казался неживым — он упрямо застыл в изматывающем безвременье, облезлый, серый, придавленный тяжёлым провинциальным небом. На центральной площади, прямо у поржавевших торговых рядов, копошился лоскутный вещевой рынок. Уличные торговцы в заношенных пуховиках топтались на картонках прямо в грязи, пытаясь сбыть палёную турецкую кожу и дешёвый китайский ширпотреб. В магазинах Бузулука царила звенящая, нищая пустота. Прилавки, когда-то заставленные советскими консервами, теперь встречали покупателей голыми серыми полками и редкими банками маринованных огурцов, покрытыми вековой пылью. Продукты питания исчезали быстрее, чем успевали завезти: масло, хлеб и сигареты выдавали по хлипким бумажным талонам, за которыми люди часами стояли в злых, замерзающих очередях. Зарплату на предприятиях не платили месяцами. Нефтяники, шахтёры, водители — все сидели на сухом пайке, выживая лишь за счёт огородов да копеечных бартерных подачек. Люди зверели от бесконечных задержек выплат, выходили на поржавевшие рельсы, устраивали глухие забастовки, но государству, казалось, было плевать на этот медленный паралич провинции. Из окон пятиэтажек по вечерам тускло мерцали экраны старых телевизоров «Рубин». Там, в глянцевого пространства столичных новостей, правил вечно пьяный, отекавший президент Ельцин. Его невнятное, заплетающееся бормотание, тяжелые взмахи распухших рук и нелепые танцы перед телекамерами выглядели как форменное издевательство над голодающей страной. Он дирижировал оркестрами за границей и клялся в верности западным партнерам, пока на окраинах его собственной империи мужики глушили палёную водку, чтобы

заглушить животный страх перед завтрашним днём. Из динамиков редких «девяток» гремели хриплые кассетные шлягеры, но этот напускной шум не мог заглушить давящую тоску, разлившуюся по разбитым бузулукским улицам. Люди здесь не жили — они обречённо выживали, глухо и злобно, пряча глаза в воротники обветренных курток. — Давай, сынок, — хмуро бросил отец, Михаил Иванович. Его прокуренный голос казался таким же грубым и необработанным, как гравий, хрустевший под шинами проезжавших мимо ПАЗиков. — Время не ждёт. У нефтяников есть работа. Считать там сейчас надо много, а людей с головой и характером не хватает. Если зацепимся на промыслах, нам хотя бы продуктовыми наборами и тушёнкой долги отдадут. Дома шаром покати, Андрей. И понеслась. Вместо мирной гражданской жизни я сразу угодил на степные промыслы. Мой диплом бухгалтера и армейская закалка пришлись министерским дельцам как раз кстати. Нас возили на дальние участки по дорогам, которые окончательно перестали ремонтировать со времён распада Союза. Порой путь пролегал через вымирающие степные посёлки — жуткие, покинутые людьми места, где покосившиеся избы с заколоченными ставнями сиротливо вращались в сухой бурьян. В этих деревнях пахло гарью, застоявшейся колодезной сыростью и безнадёжностью угасающей провинции. По вечерам у редких уцелевших сельмагов собиралась хмурая молодёжь в спортивных костюмах, глушившая дешёвый рояль прямо из горла, чтобы не сойти с ума от надвигающейся темноты. Вскоре весь мой мир сузился до размеров кабины старого КАМАЗа. Внутри намертво пахло подвальной плесенью, застарелым рабочим потом, мазутом и тем самым специфическим, приторно-сладковатым запахом сырой нефти. Мне искренне казалось, что эта жижа насквозь пропитала саму ткань моей кожи, добравшись до костей. То была вовсе не обычная работа ради куска хлеба. Это ощущалось как новое проклятие, наложенное на меня в тот самый день, когда я сдал на склад армейское обмундирование. Отец часто повторял на буровых, что нефть — это кровь земли. Но я-то знал лучше. Я лично видел, как она течёт из недр. Это была чёрная, густая, маслянистая слеза, которую под гигантским давлением выжимали из живых жил планеты. И каждый раз, когда я вёз за собой тяжёлую наливную цистерну, мне казалось, что за моей спиной ворочается душа чего-то бесконечно древнего, слепого и злобного. Я тупо кивал отцу, отчаянно пытаясь отогнать ползущие в голову мысли. Мы ведь не просто доставляли горючее на базы. Мы тащили на себе нечто, бешено желавшее вырваться наружу. Тварь, которая только и ждала момента, чтобы хлынуть из стальной цистерны, залить всё живое вокруг и превратить осязаемый мир в чёрное, мёртвое, липкое море. Дороги чёрными змеями извивались по бесконечной, выжженной равнине Оренбуржья. Вечера сменяли рассветы не плавно, а какими-то ломаными рывками — будто невидимый кукловод грубо дёргал за грязную верёвку, переключая сценарии у меня перед глазами. На ночных перегонах я отчётливо видел, как придорожные деревья превращаются в скрюченные человеческие фигуры, обречённо машущие ветвями вслед тяжёлой машине, словно умоляя о пощаде. Ночи оставались самыми страшными. В глухой темноте, когда фары КАМАЗа вырезали узкий, дрожащий коридор света в бесконечной степной мгле, тени вокруг начинали жить своей собственной, обособленной жизнью. Они легко отрывались от стволов деревьев, от бетонных столбов, от моих собственных потаённых мыслей и молча ползли за нашей кабиной. Я физически чувствовал этот ледяной, липкий взгляд на своём затылке. Иногда в глухой дорожной тишине я начинал различать шёпот. То был не хрип уставшего отца и не завывание степного ветра в щелях уплотнителя. Звук поднимался прямо из глубины истерзанной земли, из тех самых глубоких скважин, откуда станки качали свою чёрную кровь. Невидимый рот вкрадчиво шептал о том, что любая человеческая свобода — лишь глупая, дешёвая иллюзия. Что все мы — просто подневольные водители, обречённо везущие чужие грузы по разбитым дорогам, которые всегда ведут только в одном направлении. В одну сторону. Прямо в темноту. — Ты устал, сынок, — глухо шептал отец иногда. Это случалось, когда мы останавливались на вынужденную ночёвку в пустых, заброшенных степных гаражах, где душно пахло столетней плесенью, сыростью и чьими-то забытыми гре-

хами. — Но работа есть работа. Нефть ждать не будет. Я смотрел перед собой и точно знал: в один из дней, когда я наконец закрою глаза, я проснусь уже не на пассажирском сиденье грузовика. Я открою их в том самом страшном месте, где мазутная жижа течёт вечно, где нет ни солнца, ни воли, а есть лишь бесконечная, липкая тьма, которая терпеливо ждёт меня, как старый верный друг. И я буду чётко понимать, что это вовсе не финал. Это только начало. Начало того, что Михаил Иванович упорно называл обычной работой. А я давно называл это чистым адом. Шины натужно шипели, на ходу пожирая щербатый асфальт. И в тишине кабины мне раз за разом казалось, что это вовсе не каучук трётся о камни. То были чьи-то чужие, голодные зубы, с хрустом жующие древние кости бузулукской земли. Вокруг города, прямо посреди вековых казачьих земель, одна за другой вырастали хищные стальные вышки. Земля содрогалась от ударов тяжёлых долот, уходивших вглубь на километры. Моя Тень в те месяцы вела себя странно: она больше не пряталась под подошвами, а жадно вытягивалась в сторону свежих буровых скважин, будто прислушиваясь к тому, что происходило на страшной глубине. Мы упрямо копали землю, которая веками просила её не тревожить. Я сам, своими цифрами и расчётами, оформлял документы на вскрытие пластов, из которых теперь, тридцать лет спустя, на Бузулук хлынул ледяной загробный туман.

Глава 19.

Встреча с ней

Работа водителем на степных нефтепромыслах оставалась чистым, беспримесным адом. Этот кошмар мог вымотать даже парня с моими железными, переплавленными в армии нервами. Сырая нефть, которую мы сутками таскали в цистернах по разбитым оренбургским трактам, упрямо впитывалась в поры, в засаленную одежду, в саму человеческую душу. Ты продолжал отчётливо чувствовать этот удушливый дух, даже когда выдавались редкие выходные: тяжёлый, маслянистый, приторно-сладковатый, точь-в-точь как аромат гнилых цветов на кладбище. Но в девяностые я был ещё очень молод. А молодость — это слепая, упрямая броня. Она долго заставляет тебя верить в собственную абсолютную неуязвимость. Ты ходишь по краю, пока в один прекрасный день с размаху не поймёшь: эта копеечная защита никогда не спасает от по-настоящему страшных вещей. Я справлялся. Легко. Даже слишком легко для человека, вернувшегося из казарменного пекла. Тяжёлые дни без остатка уходили в бесконечную, серую полосу щербатого асфальта. Ночные смены намертво зажимали меня в промёрзших кабинах старых грузовиков, где раздолбанный радиоприёмник монотонно шипел глухой статикой, словно отчаянно пытался передать зашифрованные послания прямиком из преисподней. Но стоило смене закончиться, как мир менялся. Вечера принадлежали только мне. Бузулук после полуночи превращался в настоящий город-призрак. Улицы стремительно пустели, редкие уличные фонари мигали натужно и прерывисто, напоминая умирающие, затягивающиеся мутной плёнкой глаза, и ты оставался один на один с наползающими сумерками. Я подолгу гулял по этим безлюдным переулкам до самого рассвета, физически чувствуя, как израненная буровыми вышками земля глухо дышит под моими подошвами. В те месяцы я без труда влюблялся в себя девчонок. Это получалось само собой, без малейших усилий. Армейская переплавка и подвальное карате оставили во мне хищную, опасную харизму. В моих глазах осело то глухое знание человека, который видел слишком много изнанки, но упрямо требовал от жизни большего. Они инстинктивно тянулись ко мне, слетаясь из своих серых пятиэтажек, словно ночные мотыльки на пламя прожорливого костра. Глупые, наивные девчонки провинциального городка даже близко не понимали, что этот огонь подпитывается голодом моей Тени. И он способен выжечь их дотла, не оставив даже горстки пепла. Кожа рук пахла соляжкой, а в сумке рядом с ведомостями проходки лежали университетские учебники. Я поступил в университет. Запоем читал книги по философии и истории, жадно впитывая трактаты о том, по каким законам цивилизации строят свои дома и как именно люди уходят в небытие. Разум

отчаянно искал логические формулы для того, что я с детства видел в тёмных углах хрущёвок. Но чем глубже я погружался в труды великих мыслителей, тем сильнее меня грызла изнутри одна страшная, удушливая мысль. Она не давала мне спать, превращая каждую ночь в затяжную духовную пытку. Я содрогался от осознания того, что в моей жизни никогда не было, нет и не будет подлинного, чистого света. Никакого Божьего промысла, никакой высшей благодати. Каждое моё спасение, начиная с младенческой горячки и удара об угол стола, каждая крупница обрётённой мною силы — всё это было соткано не ангелами. Моя железная выносливость, моя подвальная ярость, моё упрямое умение дышать там, где другие ломались и плакали, — всё являлось лишь изощрёнными, долгосрочными происками демонических сил, обживших степные недра. Великие философы писали о свободе воли и высшем предназначении человека, но для меня эти концепции звучали как глупый, издевательский смех. Я чувствовал себя марионеткой, которую методично, шаг за шагом, возвращали для чего-то Braxton. Всё, с чем я соприкасался, неизбежно покрывалось налётом могильного холода. Демоны изнанки Бузулука вели меня на невидимом, прочном поводке, и моё поступление в университет, мои попытки найти истину в пыльных фолиантах были лишь попыткой раба осмыслить устройство своей клетки. Все эти книги на поверку оказались затянувшейся прелюдией. Слепой, интуитивной подготовкой к тому, чему только предстояло ворваться в мою жизнь. И потом она появилась. Это случилось 28 октября 1996 года, когда резкий степной ветер уже приносил на городские окраины едкий запах торфяной гари и подступающей лютый зимы. Я сидел в полупустом кафе на центральной бузулукской улице, тупо разглядывая мутные разводы на стекле, и цедил из граненого стакана остывающий кофе — горький, пережжённый, как сама окружающая нас действительность. Входная дверь с натужным скрипом распахнулась, впуслав внутрь ледяной сквозняк вместе с охапкой сухих кленовых листьев. И в этот проём вошла она. В ней не было ничего бьющего наповал. Самая обычная провинциальная девушка, неброская, тихая. Светлые, растрёпанные ветром волосы, простые карие глаза, в самой глубине которых явственно читалась застарелая житейская усталость, но вместе с ней — какая-то потаённая, глубокая, почти мистическая надежда. Она молча прошла мимо стойки и села за соседний столик. В ту же секунду я физически ощутил, как ход времени вокруг нас тяжело замедлился. Вязкий воздух в помещении кафе сделался густым, плотным, словно кто-то разом выключил всю вентиляцию, намертво запечатав нас в этом моменте. Она медленно подняла голову и посмотрела прямо на меня. Изломанная судьба, которую невидимые жернова готовили долгими годами, наконец захлопнула свою ловушку. — Привет, — негромко произнесла она. Голос её прозвучал тихо, но в этой мягкой интонации таилась странная, непреклонная сила, заставившая меня окончательно замереть. — Привет, — выдохнул я в ответ. Хрупкий мостик перекинулся через бездну, и я кожей почувствовал, что прежняя, понятная мне жизнь только что оборвалась навсегда. Со временем её звали Ирина, и она стала моей женой. Но это случилось далеко не сразу. Сначала были долгие, путанные разговоры на двоих, глупые уличные шутки и лёгкий, спасительный смех, временно разгонявший степной морок. Но за каждым словом Ирины тянулся шлейф какой-то нездешней, чарующей тайны. Ночной Бузулук конца девяностых укрывал нас своим туманным саваном. Мы бродили под мигающими фонарями, и мир вокруг казался декорацией к нашему сумасшедшему, лихорадочному роману. Потом пришли первые поцелуи — сладкие, с едва уловимым привкусом полыни, и бесконечные ночи, проведённые вдвоём в пустой квартире. Когда мы были вместе, Тень испуганно жалась по самым дальним углам, не смея мешать нашему глухому человеческому счастью. Казалось, тепло Ирины способно согреть даже мою онемевшую душу, обмануть моих внутренних демонов и подарить мне иллюзию того самого недостижимого света. А затем, как и должно было случиться в этом проклятом городе, наступила оглушительная, мертвенная тишина. Эта тишина навалилась на меня в тот самый день, когда до моих онемевших мозгов наконец дошло: Ирина — вовсе не обычная провинциальная девчонка. Она являлась чем-то несоизмеримо большим, древним и жутким. Чему-то, чему я,

несмотря на все свои университетские книги по философии, не мог найти ни единого логического объяснения. Все мои прежние страдания о происках невидимых тварей обрели плоть и кровь в её силуэте. Однажды глухой дождливой ночью я вернулся со смены на нефтепромыслах. КАМАЗ остался остывать у хрущёвки, а я, пропахший соляжкой и мазутом, поднялся на свой этаж. Замки открылись беззвучно. В гостиной нашей квартиры было темно, лишь тусклый свет уличного фонаря косо падал сквозь мокрое стекло. Ирина сидела в глубоком кресле у стены. Абсолютно неподвижная. Её лицо в полумраке казалось неестественно бледным, мертвенно-белым, словно высеченным из куска степного известняка. — Ты пришёл, — тихо произнесла она. Голос оставался прежним, но в этой мягкой интонации теперь явственно проступила странная, леденящая нотка. Будто слова падали на пол осколками колотого льда. — Да, — ответил я, чувствуя, как армейская бдительность заставляет мышцы инстинктивно напрячься. — Как ты? — Я в полном порядке, — беззвучно отозвалась она, даже не шелохнувшись. — Но ты должен знать кое-что. Прямо сейчас. — Что? — Я сделал шаг вперёд, сжимая в кармане куртки старый кованый гвоздь. — Я не такая, какой ты меня себе думаешь во все эти месяцы. Я подошёл к Ирине вплотную, наклонился, и в ту же секунду дикий, первобытный холод с размаху пробрался мне под кожу, полностью сковав дыхание. Так пахло в подсобках заброшенного железнодорожного депо. Так пахло из трещины под линолеумом. — Что ты имеешь в виду? — мой собственный голос сорвался на хрип. — Я не человек, — её карие глаза в темноте вдруг блеснули абсолютно гладкой, зеркальной чернотой, в которой не было зрачков. — Я — Тень. Та самая Тень, которую ты оставил на том свете, когда цеплялся за жизнь в младенчестве. Я приняла этот облик, чтобы войти в твой дом. И теперь ты мой. Я пришла, чтобы наконец забрать тебя обратно. Я отшатнулся назад, едва не сбив журнальный столик. Израненное сердце бешено заколотилось в грудную клетку. Моё страшное предчувствие подтвердилось с абсолютной, сокрушительной точностью. Наша семейная жизнь, поцелуи, ночи, смех, сама моя попытка любить — всё это было лишь долгой, изощрённой ловушкой тех самых демонов, от которых я пытался спрятаться в университетских аудиториях. Изнанка Бузулука не просто караулила меня за порогом — она спала в моей постели и дышала мне в губы. И в этот момент я понял: моя жизнь закончилась. Но не потому, что я умер. А потому, что я стал частью чего-то большего. Чего-то, что я не мог объяснить. И теперь я пишу это, чтобы вы знали: иногда любовь — это не счастье. Иногда любовь — это проклятие. И иногда, чтобы выжить, нужно принять свою тень. Но я не знаю, смогу ли я это сделать. Потому что теперь я понимаю: тень — это не просто тень. Это — я. И я — это она. И мы никогда не разделимся.

Глава 20.

Ломаный фарватер времени

Тьма в гостиной хрущёвки, зеркальные бездонные глаза Ирины и удушливый запах гнилых цветов отступили не плавно, а сухим, колючим щелчком, словно кто-то разом перебил все силовые кабели в доме. Я обнаружил себя стоящим на ногах, по пояс в липком, маслянистом тумане, который волнами перекатывался через ржавые рельсы. Воспоминания о девяностых сорвались и канули в недра. Настоящее время Бузулука, застывшее у разбитого окна квартиры, снова потащило меня вперёд. Я шёл к депо. Ангараы вырастали из чернильной ночи огромными угольными хребтами. Железные листы обшивки глухо стонали под порывами озлобленного степного ветра. Пальцы мертвой хваткой сжимали латунный ключ с тремя бородками. Церковный гвоздь Матвея в кармане куртки жёг бедро сквозь ткань, вибрируя со звуком высоковольтной линии. Туман вокруг ангара уплотнился, превращаясь в сырое серое желе. Звуки города умерли. Ни лая собак на переездах, ни гудков тепловозов. Полная, стерильная тишина склепа. Я толкнул тяжёлую, обитую поржавевшим железом дверь подсобного помещения под ремонтной ямой. На секунду в пелене тумана мне померещился силуэт сестры Елены, но серая масса мгновенно поглотила её очертания. Латунный ключ вошёл в скважину навесного замка

легко, как нож в подтаявшее масло. Три поворота. Сухой хруст металла. Дверь подалась назад, открывая зев подземелья. Но за порогом не было ни бетонного пола, ни старых верстаков, ни мазутных луж. За порогом выла и пенилась река. Это была не вода. Черная, густая, светящаяся изнутри тусклыми багровыми искрами субстанция неслась в абсолютной пустоте с оглушительным, утробным ревом. Поток пах старой полынью, гарью, сырой нефтью и свежесрытой могильной землей. Река времени. Великий ломаный фарватер, который буровики вскрыли своими долотами в оренбургских недрах, лишив город защиты. Струя ледяного воздуха ударила мне в грудь, сбивая с ног. Тень под моими подошвами дико взвилась вверх чёрным парусом, но поток времени оказался сильнее. Черная пена плеснула через порог, намертво перехватив меня за лодыжки. Земля ушла из-под сапог. Реальность хрущёвок, КАМАЗов и университетских лекций разлетелась стеклянными брызгами. Меня с размаху швырнуло в ледяной, ревущий поток, затаскивая на самую глубину вековых пластов. Меня несло сквозь эпохи. Перед глазами ломаными рывками проносились и рассыпались в прах серые коробки пятиэтажек, заколоченные избы частного сектора, кресты на казачьих погостах и безликие фигуры, машущие руками из темноты. Время скручивалось в тугую жгучий узел, выжимая из легких остатки кислорода. А затем рев резко прекратился. Поток выплюнул меня наружу, сильно приложив спиной о жесткую, сухую землю. Я закашлялся, хватая ртом воздух. Он был совершенно другим — чистым, пронзительным, горьким от первозданной степной полыни и пахнущим дымом от костров из конского навоза. Никакого мазута. Никакого бензина. Над головой раскинулось колоссальное, бездонное ночное небо, не испорченное электрическим заревом хрущёвок. Звезды казались огромными, острыми, словно наконечники казачьих пик. Я медленно поднялся на колени, опираясь руками на жесткую, не тронутую плугом дернину. В полукилометре впереди, на высоком берегу реки Самары, в неровном свете факелов чернели свежесрубленные дубовые стены. Острые вершины частокола, сторожевые вышки с дозорными и тяжелые деревянные ворота. Из-за стен доносился глухой стук топоров, конское ржание и чужая, грубая речь первопоселенцев. На дворе стоял 1736 год. Год основания Оренбургской экспедицией Ивана Кириллова крепости Бузулук. Я стоял в самом начале проклятия. В точке, где человек впервые вбил первый деревянный кол в эту землю, потревожив спавшую в недрах Тень. И я кожей чувствовал: чернота, шептавшая мне из скважин в девяностых, уже тогда, двести девяносто лет назад, терпеливо ждала моего прихода среди этих диких, бескрайних степей.

Глава 21. Голос из частокола

Андрей не сразу понял, что дышит. Он лежал на жёсткой дернине, и каждый вдох был как удар — острый, горький, будто степь пыталась выжечь из него всё городское, всё привычное. Полынь пахла не ностальгией, а угрозой. Небо над ним было чужим: слишком огромным, слишком чёрным, без единого пятнышка электрического света. Звёзды висели низко, как гвозди, вбитые в бархат ночи.

Он сел, прижимая ладонь к груди, где под курткой тускло звякнул гвоздь Матвея. Тот всё ещё был с ним, хотя куртка эта — из девяностых, с потёртым воротником и запахом мазута — теперь выглядела нелепым анахронизмом среди первозданной степи.

Крепость на берегу Самары стояла перед ним, как живое предупреждение. Из-за частокола доносились голоса — грубые, нетерпеливые, не знающие ещё ни хрущёвок, ни буровых вышек, ни той тишины, которая наступает, когда город перестаёт дышать. Там, за дубовыми брёвнами, кипела жизнь, не подозревающая о своей будущей гибели.

Тень, до этого момента жавшаяся к его сапогам, вдруг вскинулась, словно её хлестнули кнутом. Она не тянулась к крепости — она от неё отшатывалась, съёживаясь в клубок у его ног. Впервые Андрей почувствовал её страх. Не высокомерный, не холодный, а настоящий, животный.

— Что ты видишь? — прошептал он, будто Тень могла ответить словами.

В ответ пришёл только холод, липкий, как роса на могильной плите.

Из темноты, от самой кромки берега, к нему шагнул человек. Не казак и не солдат, а нечто среднее между ними: в грубом кафтане, с топором на плече и взглядом, в котором не было любопытства — только знание. Он остановился в десяти шагах, не приближаясь, и голос его прозвучал так, будто слова рождались не во рту, а где-то глубже, в самой земле:

— Ты не из наших.

Андрей хотел ответить, но язык не слушался. Вместо этого из его горла снова вырвался тот самый чужой шёпот, который уже однажды пугал девчонок во дворе:

— Я оттуда, где ваш город умрёт.

Человек не вздрогнул. Только крепче сжал рукоять топора.

— Здесь нет города. Здесь только крепость. И земля, которая ещё не решила, примет ли она нас.

Андрей поднялся, чувствуя, как земля под ногами вибрирует, словно натянутая струна. Он знал: эта вибрация — не эхо шагов. Это дыхание того, что спало под Бузулуком двести девяносто лет назад и уже тогда ждало его прихода.

— Она не примет, — прохрипел Андрей, и на этот раз голос был его собственным, надтреснутым, но твёрдым. — Потому что я пришёл не просить. Я пришёл закрыть то, что вы открыли, вбивая первый кол.

Человек прищурился, будто пытался разглядеть в нём не лицо, а судьбу.

— Ты говоришь, как проклятый.

— Я и есть проклятый, — Андрей сунул руку в карман и сжал латунный ключ. Металл был тёплым, будто живым. — Но я могу это остановить. Если вы покажете мне место. То, где земля впервые дрогнула под топором.

Казак медленно опустил топор, но не убрал его.

— Зачем тебе это?

Андрей посмотрел на крепость, на острые вершины частокола, на звёзды, которые теперь казались ему не украшениями неба, а глазами чего-то огромного и терпеливого.

— Потому что если я не закрою проход сейчас, здесь, в самом начале, то через двести девяносто лет мой родной город станет склепом. И я буду последним, кто попытается его спасти.

На мгновение степь замерла. Даже ветер перестал шептать на своём древнем языке. Казак сделал шаг вперёд, потом ещё один. Теперь между ними оставалось не больше трёх шагов.

— За мной, — коротко бросил он. — Но если ты лжёшь... если от тебя пойдёт гниль... я не стану ждать приказа.

Андрей кивнул. Он не собирался лгать. Он собирался сделать то, ради чего его и держали в этом мире: заплатить долг, который начал копиться в тот самый миг, когда первый топор вонзился в землю Бузулука.

Они шли вдоль берега, туда, где река изгибалась, образуя глубокую, тёмную заводь. Вода здесь была неподвижной, словно зеркало, в котором отражалось не небо, а сама изнанка мира. У самой кромки, там, где корни старого дуба уходили в воду, земля была рыхлой, будто её недавно тревожили.

Казак остановился и указал на небольшой холмик, поросший полынью.

— Здесь ставили первый сруб. Говорили, земля стонала, когда вбивали сваи. Старики шептали, что это не земля стонет, а что-то под ней. Мы не верили. Думали, ветер.

Андрей опустился на колени. Пальцы сами нашли в кармане гвоздь. Он вытащил его и прижал остриём к земле. Металл вспыхнул тусклым, багровым светом — так же, как в тумане у депо.

Земля вздрогнула.

Из-под корней дуба потянулся холод, густой и тяжёлый, как смола. Он обвил лодыжки Андрея, поднимаясь всё выше, словно хотел утянуть его вниз, туда, откуда он пришёл. Тень взвыла, превратившись в чёрный вихрь, и бросилась на этот холод, пытаясь разорвать его на части.

Но холод был сильнее.

Андрей стиснул зубы и вдавил гвоздь глубже. Латунный ключ он положил рядом, ладонью прижимая его к земле, будто якорь.

— Закройся, — прошептал он, и слово прозвучало как заклинание, как приказ, обращённый не к земле, а к самой истории. — Закройся, пока не поздно.

Холод зашипел, как вода на раскалённом железе. Вибрация под землёй стала невыносимой. Андрей чувствовал, как время вокруг него трескается, как стекло. Перед глазами мелькали обрывки будущего: хрущёвки, тонущие в маслянистом тумане, лица людей, которых он знал и которых ещё не знал, степь, поглощающая город, как голодный зверь.

И вдруг всё оборвалось.

Тишина ударила по ушам, как взрыв. Холод отступил, втянувшись обратно в землю, оставив после себя только запах сырой глины и старой полыни. Гвоздь в руке Андрея погас, став обычным куском ржавого железа. Ключ лежал рядом, покрытый зелёным налётом, будто пролежал в земле не один век.

Казак стоял, не шевелясь, и смотрел на Андрея так, словно видел сквозь него.

— Ты сделал это, — проговорил он наконец, и в его голосе не было ни радости, ни облегчения — только тяжёлое понимание. — Но цена будет. Земля не любит, когда её раны зашивают чужими руками.

Андрей медленно поднялся, отряхивая колени. Ноги казались чужими, будто принадлежали кому-то другому. Он посмотрел на крепость, на огоньки факелов, на людей, которые ещё не знали, что их город обречён и спасён одновременно.

— Я знаю, — тихо ответил он. — Я всю жизнь её плачу.

Степь вздохнула, и этот вздох был похож на шёпот множества голосов — тех, кто жил здесь до него, тех, кто будет жить после, и тех, кто никогда не родится, потому что история сделала поворот.

Андрей повернулся и пошёл прочь, туда, где тьма была гуще, где время снова ждало его, чтобы швырнуть обратно в его эпоху. Тень скользила рядом, теперь не испуганная, а насторожённая, будто понимала: самое страшное ещё впереди.

Потому что закрыть проход — это только начало. Теперь нужно было вернуться и убедиться, что город всё ещё стоит. Что его жертва не была напрасной.

И что он сам всё ещё существует в том мире, который он только что спас.

Глава 22. Посвящение в казаки

Андрей шёл за казаком вдоль берега, а степь будто сжималась вокруг него, становясь всё более чужой и насторожённой. Каждый шаг отдавался в груди не просто тяжестью сапог, а тяжестью времени — он чувствовал, как 1736 год облепляет его, въедается в кожу, вытесняя из него запах мазута, асфальта и девяностых.

У ворот крепости их встретили двое дозорных с пиками. Они переглянулись, когда увидели Андрея: его куртка, его взгляд, даже то, как он держал плечи, — всё было не отсюда.

— Кто таков? — рявкнул один, постукивая древком по земле.

Казак, что привёл Андрея, шагнул вперёд и коротко бросил:

— Тот, кто закрыл трещину у старого дуба. Земля перестала стонать.

Дозорные переглянулись снова, но уже иначе — не с подозрением, а с опаской, какой встречают человека, сделавшего то, чего другие боялись даже подумать.

Внутри крепости было шумно и тесно: пахло дымом, конским потом, смолой и свежим деревом. Люди сновали между срубами, стучали топорами, кричали друг на друга. И посреди

этого живого, грубого мира Андрей чувствовал себя стеклянной фигурой — слишком прозрачной, чтобы быть своим, и слишком твёрдой, чтобы рассыпаться.

К ним подошёл седой, жилистый мужчина с крепкими, узловатыми руками и взглядом, в котором не было ни доброты, ни жестокости — только расчёт.

— Это ты тот, о ком шепчут у колодца? — спросил он, не сводя глаз с Андрея.

Андрей кивнул.

— Я закрыл проход. Там, у заводи. Гвоздём и ключом.

Седой хмыкнул, будто взвешивая каждое слово.

— Проход закрывают либо дураки, либо те, кому нечего терять. Ты на дурака не похож. Значит, терять тебе есть что.

Он помолчал, потом повернулся к казаку, что привёл Андрея:

— Пусть останется. Пусть побудет с нами. Если к рассвету земля не начнёт снова стонать — поговорим о деле.

Так Андрей остался в крепости. Его не звали гостем, не звали братом, но и не гнали. Ему дали кусок хлеба, кружку кислого кваса и место у стены, где можно было присесть и смотреть, как этот мир живёт, не зная, что впереди у него — века, нефть, железные дороги и туман, пожирающий дома.

Ночь тянулась долго. Андрей не спал. Он чувствовал, как Тень шевелится у его ног, как она всё ещё боится этого места, этой земли, которая помнит каждый вбитый кол.

А утром пришёл обряд.

Посвящение было простым и жестоким. Никаких пышных слов, никаких венков. Только круг из казаков, стоящих плечом к плечу, и седой атаман, держащий в руках старый, потемневший от времени клинок.

— Ты пришёл не из степи, не из наших родов, не из нашей крови, — говорил атаман, и голос его звучал ровно, без упрёка и без похвалы. — Но ты сделал то, что должен был сделать тот, кто стоит на пороге. Ты закрыл дыру, через которую в наш дом лезла тьма. За это мы дадим тебе имя и оружие. Но помни: имя — это не подарок. Это долг.

Андрею велели снять куртку. Под ней была простая рубаша, уже пропитанная запахом степи и чужого времени. Атаман провёл лезвием по его плечу, не глубоко, но достаточно, чтобы выступила кровь. Капля упала на землю, и Андрей почувствовал, как земля приняла эту плату.

— Теперь ты с нами, — проговорил атаман. — Назовись.

Андрей помолчал. Имя «Андрей» здесь звучало слишком городским, слишком поздним. Но другого у него не было.

— Андрей, — сказал он твёрдо.

Атаман кивнул.

— Будь Андреем. Пусть это имя держит тебя, когда ноги будут скользить на крови.

Ему вручили короткий казачий нож и саблю, лёгкую, но с тяжёлым, уверенным балансом. Металл охлаждал ладонь, и в этом холоде Андрей узнал что-то знакомое — тот же холод, что шёл от гвоздя Матвея, от Тени, от самой земли Бузулука.

И едва он успел привыкнуть к весу оружия, как дозорные закричали с вышки:

— Кочевники! С юга! Много!

Глава 23.

Бой у частокола

Степь взорвалась топотом. Земля дрожала под копытами, и этот грохот был страшнее любого крика. Казаки бежали к стенам, хватали пики, натягивали луки, проверяли тетивы. Андрей стоял среди них, чувствуя, как Тень взвизгивает чёрным вихрем у его сапог, будто сама хотела броситься в бой.

Кочевники неслись плотной волной, их стрелы летели вперёд, как чёрные шмели, и падали на частокол, впиваясь в дерево. Первая волна ударилась о ворота, и крепость застонала, но выдержала.

Андрей встал рядом с седым атаманом. Тот посмотрел на него коротко, без лишних слов: — Держи строй. Не смотри в глаза тем, кто летит на тебя. Смотри на их руки. На оружие. Там правда.

Стрелы засвистели над головами. Андрей пригнулся, выставил саблю. Первая атака откатилась, оставив на земле тела и сломанные копья. Но за первой волной шла вторая, ещё злее, ещё быстрее.

Они прорвались у северной стены, где брёвна были тоньше, а земля — рыхлее. Кочевники вломились внутрь, рубя направо и налево, крича на своём гортанном языке, который звучал как вой ветра в пустых колодцах.

Андрей бросился туда, где кипела схватка. Сабля в его руке двигалась сама, будто вспоминая движения, которых он никогда не учил. Он рубил, отступал, снова бросался вперёд. В какой-то момент он увидел перед собой лицо врага — молодое, с горящими глазами, и на долю секунды ему показалось, что в этих глазах он видит отражение своей собственной Тени.

Но времени на раздумья не было. Он ударил, враг отшатнулся, и тут же из-за спины вылетел всадник на низком, стремительном коне. Андрей едва успел поднять саблю, чтобы отвести удар, но стрела, пущенная кем-то из задних рядов, нашла свою цель.

Острая, горячая боль вспыхнула в левом плече. Андрей пошатнулся, но не упал. Он чувствовал, как тёплая кровь течёт по руке, как ткань прилипает к коже, как мир становится чуть более тусклым, будто кто-то накинул на него серую вуаль.

Тень метнулась вперёд, превратившись в чёрную полосу, и врезалась в лицо всадника. Тот закричал и отпрянул, будто его обожгло. Андрей воспользовался этим мгновением и ударил. Всадник рухнул, а Андрей остался стоять, прижимая руку к ране.

Атаман подбежал к нему, схватил за здоровое плечо:

— Жив?

Андрей кивнул, стиснув зубы.

— Жив.

— Тогда держись. Это только начало.

Бой кипел ещё долго. Степь стонала от криков, от звона металла, от топота копыт. Андрей сражался, несмотря на боль, и с каждым ударом чувствовал, как его собственная кровь смешивается с кровью этого времени, этой земли.

Когда солнце перевалило за полдень, кочевники начали отступать. Они не ушли совсем, но отодвинулись, растворились в степи, как дым, который не может удержаться на ветру.

Крепость стояла.

Глава 24.

Рана и тишина

Андрея отвели в небольшой сруб, где пахло травами, дымом и чем-то горьким, похожим на полынь. Старая казачка с лицом, изрезанным морщинами, как степными оврагами, осмотрела рану.

— Стрела прошла навылет, — проговорила она, шурясь. — Не задела кость. Но кровь уйдёт, если не держать.

Она промыла рану настоем из трав, туго перетянула плечо полотном, потом посмотрела на Андрея так, будто видела не только его плечо, но и всю его жизнь.

— Ты не из этих мест, — сказала она тихо. — И не из этого времени.

Андрей не стал отрицать.

— Нет.

Женщина кивнула, будто это ничего не меняло.

— Значит, тебе тяжелее. Но и держаться ты должен крепче.

Пока она работала, Андрей смотрел в маленькое окошко, где виднелся кусочек степи. Там, за пределами частокола, всё ещё висела тонкая, едва заметная дымка, будто степь не могла забыть, что здесь только что кипела смерть.

Когда казачка ушла, в сруб вошёл атаман. Он сел на лавку напротив Андрея, положил руки на колени и долго молчал. Потом сказал:

— Ты дрался, как человек, который знает, что терять ему нечего.

Андрей усмехнулся, но улыбка вышла кривой, болезненной.

— У меня есть что терять. Город. Дом. Сестру.

Атаман склонил голову, будто прислушиваясь не к словам, а к чему-то за ними.

— Город ещё не построен. Дом ещё не срублен. А сестра... сестра будет. Всё это впереди. Но если ты правда пришёл из будущего, чтобы закрыть эту трещину, значит, ты уже заплатил цену. И будешь платить дальше.

Андрей опустил взгляд на свои руки, покрытые чужой пылью, чужой кровью.

— Я знаю.

Атаман поднялся, подошёл к двери, потом обернулся:

— Отдыхай. Завтра будет новый день. И новые враги.

Когда он ушёл, в срубе стало тихо. Только ветер шептал что-то своё за стенами, да Тень тихо лежала у ног Андрея, будто наконец-то перестала бояться.

Андрей закрыл глаза и подумал о Елене. О том, как она стояла у старого дома, как смотрела на него теми же зелёными глазами, что и сейчас, только в них было больше усталости. Он подумал о том, что если он не вернётся, если этот 1736 год заберёт его навсегда, она останется одна. А город всё равно падёт.

Но он не собирался сдаваться. Он был теперь казаком. Пусть и не по крови, а по долгу. И этот долг он будет платить до конца.

Даже если конец окажется ближе, чем кажется.

Глава 25.

Голодная тишина

Степь вокруг крепости будто затаила дыхание. Казаки ходили по двору, не поднимая глаз: каждый шаг теперь отдавался не просто тяжестью сапог, а тяжестью ожидания. В котлах булькала жидкая похлёбка из остатков крупы и сушёного мяса — её хватало, чтобы не упасть, но не хватало, чтобы почувствовать себя живым.

Андрей сидел у стены, прижимая ладонь к перевязанному плечу. Рана ныла, но он старался не замечать боли — она была мелкой по сравнению с тем, как сжималось внутри от понимания: крепость держится на упрямстве и на пустом желудке.

Атаман ходил по периметру, щурясь на горизонт, будто мог взглядом прогнать ту самую дымку, что стелилась над степью и тянулась к воротам. К нему подошёл молодой казак, почти мальчишка, с лицом, ещё не тронутым сединой, но уже уставшим:

— Опять никого. Лазутчики не возвращаются.

Атаман не ответил сразу. Он смотрел туда, где река Бузулук вливалась в Самару — в то самое место, где кочевники разбили лагерь. Оттуда к крепости тянулась невидимая, но осязаемая линия смерти: любой, кто пытался проскользнуть вдоль берега или срезать путь через овраги, исчезал бесследно. Пару дней назад не вернулся старый Ефим, лучший следопыт крепости. Его конь прискакал один, в пене, с окровавленным седлом.

— Значит, будем держаться сами, — проговорил атаман наконец, и в его голосе не было ни злости, ни отчаяния — только холодная уверенность человека, который знает цену каждому слову.

Вечером Андрей вышел к колодцу. Вода была ледяной, пахла железом и сырой землёй. Он плеснул себе в лицо, и на мгновение ему показалось, что в отражении мелькнуло не его

собственное лицо, а лицо того Андрея из девяностых — того, что сжимал латунный ключ и не знал, что впереди будет не только туман, но и голод, кровь и тишина, в которой слышно, как скрипит время.

Рядом тихо встала Тень. Она больше не металась, не рвалась вперёд, как в бою. Теперь она прижималась к его сапогам, будто тоже чувствовала эту тяжесть.

К Андрею подошёл тот самый седой казак, который первым встретил его у ворот.

— Ты всё ещё думаешь, что можешь всё исправить? — спросил он без упрёка, просто как человек, которому нужно услышать хоть какой-то ответ.

Андрей помолчал.

— Я думаю, что если не попробую, то всё, что мы делаем здесь, станет просто отсрочкой. Кочевники сидят у слияния рек не просто так. Они перекрывают не только дорогу — они перекрывают саму возможность жизни. А значит, там, в их лагере, есть что-то ещё. Не только стрелы и копья.

Казак кивнул, будто ждал именно этих слов.

— Атаман хочет послать ещё одного. На рассвете. Говорят, у излучины тропа прячется в камышах. Если пройти низко, пригнувшись, можно проскочить.

Андрей медленно поднялся, морщась от боли в плече.

— Я пойду.

Казак прищурился.

— Ты ранен. И ты чужой. Зачем тебе это?

Андрей посмотрел на него прямо.

— Потому что я знаю, что будет, если никто не вернётся. Я видел этот город без людей. Без света. Без будущего. Я не хочу снова это видеть.

Глава 26.

Тропа в камышах

Рассвет подкрался к крепости серым, липким туманом. Андрей накинул поверх рубахи старый казачий кафтан — он был ему великоват, но скрывал очертания тела, делал его похожим на своих. В кармане он нащупал гвоздь Матвея. Металл был холодным, но не вибрировал, как раньше. Словно земля здесь, в этом времени, уже не хотела кричать. Она хотела молчать. И это молчание было страшнее крика.

Он шёл вдоль берега, пригибаясь к земле, сливаясь с тенью камышей. Вода тихо плескалась у корней, пахла тиной и чем-то древним, что не менялось веками. Андрей чувствовал, как Тень скользит рядом, становясь почти невидимой, растворяясь в утренней дымке.

До лагеря кочевников оставалось не больше полукилометра. Андрей замер, вглядываясь в очертания шатров, в тонкие струйки дыма, в фигуры, двигавшиеся между ними. Всё было слишком спокойным — как перед бурей.

И тут он увидел то, что заставило его кровь похолодеть.

В центре лагеря, на небольшом возвышении, стоял не человек и не зверь, а нечто, сотканное из сумрака и ветра. Оно не имело чётких очертаний, но от него веяло тем самым могильным холодом, который Андрей знал слишком хорошо. Это была не просто сила степи — это была изнанка, та самая чернота, которую он пытался закрыть у старого дуба. И теперь она стояла здесь, управляя кочевниками, превращая их в своих стражей.

Тень Андрея взвилась, словно её ударило током, и тут же прижалась к его ногам, дрожа.

«Оно знает меня», — подумал Андрей. И в ту же секунду из камышей справа выскользнула фигура в кожаной безрукавке. Кочевник замер, увидев Андрея, и в его глазах мелькнуло не удивление, а узнавание. Он не кричал, не звал подмогу — он просто поднял лук.

Стрела свистнула в воздухе. Андрей рванулся в сторону, но плечо взорвалось новой болью. Он упал в камыши, чувствуя, как тёплая кровь снова пропитывает ткань.

Кочевник шагнул ближе, наводя стрелу. Андрей сжал в кулаке гвоздь. Металл вспыхнул тусклым багровым светом, и кочевник на мгновение замер, будто увидел что-то за спиной Андрея. Этого мгновения хватило. Андрей ударил ногой, сбивая противника с ног, и перекатился, уходя глубже в заросли.

Но он знал: один промах не спасёт. Лагерь уже проснулся. И чернота в центре шатров знала, что он здесь.

Глава 27.

Возвращение с вестью

Андрей полз обратно, оставляя за собой тонкую красную дорожку на мокрой траве. Каждый вдох отдавался в плече острой, колючей болью, но он не останавливался. Он должен был донести то, что увидел.

Когда он добрался до частокола, его заметили дозорные. К нему подбежали, подхватили под руки, втащили внутрь. Атаман был рядом почти сразу.

— Говори, — коротко бросил он, не тратя слов на вопросы о ране.

Андрей сел, прислонившись к стене, и выдохнул:

— Там не просто кочевники. Там... нечто. В центре лагеря. Оно управляет ими. Оно знает меня. И оно не даёт никому пройти. Это не осада — это ловушка. Они держат нас здесь не ради добычи и не ради славы. Они держат нас, чтобы мы не смогли позвать на помощь. Чтобы крепость умерла от голода и тишины.

Атаман помолчал, глядя на Андрея так, будто пытался прочитать в его лице не слова, а самую правду.

— Ты видел это своими глазами?

— Да. И Тень его боится.

По рядам казаков пробежал тихий шёпот. Кто-то перекрестился. Кто-то крепче сжал рукоять ножа. Но никто не отвёл взгляда.

Атаман повернулся к кругу казаков, собравшихся вокруг.

— Значит, подмоги не будет. Значит, мы держимся сами. Но есть ещё один путь. Старый ход под рекой. Он ведёт к оврагу за северной стороной. Им пользовались, когда крепость только ставили, чтобы уходить от погони. Его завалили, но камни лежат неплотно. Если разобрать проход, можно вывести людей. Женщин, детей, раненых.

Молодой казак, тот самый мальчишка, что докладывал о лазутчиках, шагнул вперёд:

— Я знаю, где он. Я ходил туда мальчишкой.

Атаман кивнул.

— Тогда готовь людей. Сегодня ночью. Тихо. Без факелов.

Андрей хотел подняться, но плечо отозвалось резкой болью.

— И я пойду, — прохрипел он.

Атаман посмотрел на него и покачал головой:

— Ты нужен здесь. Если это нечто из лагеря почувствует, что мы уходим, оно ударит по крепости. И тогда те, кто пойдёт по подземному ходу, окажутся в ловушке. Ты останешься. Будешь стоять на стене. И если эта чернота придёт — ты знаешь, как с ней говорить.

Андрей стиснул зубы. Ему не нравился этот план. Но он понимал: другого нет.

Глава 28.

Ночной ход

Ночь накрыла крепость тяжёлым, плотным покрывалом. Казаки двигались бесшумно, как тени. Подземный ход нашли быстро: старый лаз, скрытый за грудой камней и гнилых досок. Его разобрали за полчаса, и первая группа — женщины, дети, несколько стариков — исчезла в темноте, скользя по узкому проходу.

Андрей стоял на стене, сжимая в кулаке гвоздь. Тень вилась вокруг его ног, беспокойная, как загнанный зверь. Он смотрел на лагерь кочевников, на то место, где стояла чернота. И ждал. И она пришла.

Сначала это был просто ветер. Он поднялся внезапно, срывая с крыш щепки, гнул камыши у реки, заставлял дрожать даже толстые брёвна частокола. Потом из степи потянулся туман — не обычный, а маслянистый, тяжёлый, пахнувший гарью и могилой землёй.

Чернота двигалась к крепости, вытягивая щупальца из сумрака. Казаки на стенах замерли, сжимая оружие. Никто не кричал. Никто не молился. Они просто ждали удара.

Туман ударил в ворота с глухим, утробным рёвом. Брёвна застонали. Андрей почувствовал, как земля под ногами дрожит, будто сама степь хотела проглотить крепость целиком.

Он шагнул к краю стены и поднял руку с гвоздём. Металл снова вспыхнул багровым.

— Назад! — крикнул он, и его голос прозвучал не как человеческий, а как раскат грома, прокатившийся над степью.

Чернота зашипела, отступая на мгновение. Но тут же ударила снова, сильнее. Туман поднялся выше, обволакивая стены, проникая в щели, в лёгкие, в мысли.

Андрей чувствовал, как его собственная Тень борется с этим холодом, как она пытается удержать границу, но силы были неравны. Чернота была старше, сильнее, она жила здесь задолго до первого кола, вбитого в землю.

И тогда он сделал то, чего боялся больше всего. Он отпустил контроль. Позволил Тени вырваться полностью, стать не частью себя, а щитом, стеной, огнём.

Тень взметнулась вверх, превращаясь в чёрное пламя, и ударила по туману. Степь застонала. На мгновение всё замерло — и туман, и ветер, и даже биение сердца Андрея.

А потом из подземного хода донёсся крик. Тихий, но отчётливый.

Кто-то из ушедших попался.

Чернота отступила не потому, что испугалась. Она просто поменяла цель.

Андрей понял: подземный ход раскрыт. Те, кто ушёл, теперь в ловушке.

Он повернулся к атаману:

— Нужно идти. Сейчас. Пока она не сомкнула кольцо.

Атаман молча кивнул.

— Бери десяток. Идите вдоль берега. Я останусь здесь. Держу стену.

Андрей не спорил. Он знал: спорить сейчас — значит терять время.

Они спустились со стены и побежали по тёмному двору, мимо пустых срубов, мимо колодца, от которого пахло железом и страхом. Десять казаков, Андрей и его Тень, ставшая теперь не тенью, а клинком.

Они бежали к оврагу, к тому месту, где подземный ход выходил на поверхность. И степь шептала им вслед: «Вы опоздали. Вы всегда опаздываете».

Но они не останавливались.

Потому что знали: если не дойдут сейчас, то не дойдут никогда.

Глава 29.

Порох и пепел

Порох кончался. Это чувствовалось не по сухим цифрам в сундуке атамана — его считали по тишине. Раньше над крепостью висел тяжёлый, едкий запах селитры, смешанный с гарью после каждого залпа. Теперь крепость пахла только сыростью, старым деревом и голодом.

Атаман стоял у единственной пушки, поглаживая ладонью её нагретый бок, будто пытался выжать из металла хоть каплю прежней силы. Рядом лежал последний мешок с порохом — его хватило бы на три выстрела, не больше. Мушкеты перезаряжали уже не по уставу, а по остатку: в стволы засыпали то, что оставалось на дне рожков, смешивали с песком, чтобы растянуть заряд. Казаки знали: следующий залп станет почти криком отчаяния.

Андрей стоял на стене, прижимая ладонь к плечу — рана ныла, но он не позволял себе сгибаться. Он смотрел на лагерь кочевников и видел, как степь дышит. Не ветром, а чем-то иным: медленным, ритмичным, будто под землёй билось огромное, равнодушное сердце. И каждый его удар отзывался в груди Андрея холодом.

Тень скользила у его сапог, тонкая, как тень от лезвия. Она больше не металась — она прислушивалась.

— Они не просто люди, — прошептал Андрей, скорее себе, чем дозорному рядом. — В каждом из них сидит этот дух. Он не управляет ими, как кукловод. Он — это они. Их кровь, их ярость, их голод. Степь отдала им себя, и теперь они — её руки.

Дозорный покосился на него, но ничего не сказал. В крепости уже привыкли, что этот чужак говорит странные вещи, и чаще всего они оказывались правдой.

Снизу донёсся голос атамана:

— Андрей! Спускайся. Есть дело.

Он спустился по скрипучим ступеням, чувствуя, как каждый шаг отдаётся в плече. В центре двора собрались казаки — не все, многие стояли на стенах, но самые верные, самые упрямые были здесь. Лица у них были тёмные, обветренные, с той особой печатью, когда человек уже смирился с тем, что может не дожить до рассвета, но всё равно готов драться.

Атаман поднял мешок с порохом.

— Три выстрела. Один — чтобы сбить их напор, если пойдут на штурм. Два — чтобы дать тем, кто уйдёт по подземному ходу, хоть какой-то шанс. Но если мы потратим их сейчас, у нас не останется ничего. Ни защиты, ни угрозы.

Молодой казак, тот самый мальчишка, что знал подземный ход, шагнул вперёд:

— Мы можем не стрелять. Можем ударить сами. Прорваться к оврагу, пока они не ждут.

Атаман покачал головой:

— Они ждут. Степь шепчет им всё, что мы делаем. Они знают про ход. Они ждут, когда мы пойдём.

Андрей сжал в кулаке гвоздь Матвея. Металл был холодным, но не вибрировал. Он будто устал кричать.

— Тогда я пойду к ним, — сказал Андрей тихо, но так, что все услышали. — Один. Без оружия. Пусть думают, что я сдаюсь. А когда они соберут круг, когда их вожди выйдут, я найду того, в ком дух сидит плотнее всего. И я заставлю его отступить.

Казаки переглянулись. Кто-то хотел возразить, кто-то уже видел в этом единственный выход.

Атаман посмотрел на Андрея долго, будто пытаясь прочитать в его глазах, сколько ещё жизней он готов положить на эту чашу.

— Ты не знаешь, что это за сила.

— Знаю, — ответил Андрей. — Я чувствую её. Она та же, что тянула меня вниз, когда я сорвался со стола. Та же, что шептала из-под плинтусов в хрущёвке. Она древнее этой крепости, древнее любого из нас. Но она не бессмертна. Она — как огонь. Ей нужно топливо. А топливо — это страх, кровь, смерть. Если я не дам ей этого... если я встречу её без страха... она ослабнет.

Атаман помолчал, потом кивнул:

— Хорошо. Но не один. Возьми с собой Тень. Пусть она будет твоим щитом. И возьми это.

Он протянул Андрею латунный ключ. Тот самый, что прошёл сквозь время.

— Говорят, такие ключи делают из металла, который помнит, как запирают двери между мирами. Пусть он помнит и сейчас.

Глава 30.

Одинокий шаг

Андрей вышел из ворот крепости один. Без сабли, без ножа. Только гвоздь в кулаке и ключ в кармане. Тень тянулась за ним, становясь то гуще, то тоньше, будто сама не знала, как лучше защитить своего хозяина.

Степь встретила его тишиной. Даже ветер притих, словно прислушивался. Андрей шёл прямо к лагерю, не прячась в камышах, не пригибаясь. Он хотел, чтобы его видели. Чтобы они поняли: он не бежит, не прячется, не торгуется. Он идёт говорить.

Кочевники заметили его задолго до того, как он подошёл к краю лагеря. Несколько всадников выехали вперёд, держа луки наготове, но не стреляли. Они ждали приказа.

Андрей остановился в двадцати шагах от них.

— Я пришёл не воевать, — крикнул он на ломаном языке, который каким-то чудом всплыл в памяти — будто степь сама подсказала нужные слова. — Я пришёл поговорить с тем, кто ведёт вас.

Всадники переглянулись, потом один из них кивнул и поехал назад, в центр лагеря. Через несколько минут оттуда вышли трое: высокий воин с лицом, иссечённым шрамами, и двое старейшин в меховых накидках. Но Андрей смотрел не на них. Он смотрел за их спины, туда, где воздух дрожал, как над костром, и в этой дрожи проступали очертания чего-то огромного, бесформенного, древнего.

Дух степи.

Тот, что затаился в каждом кочевнике, что делал их быстрыми, безжалостными, неутомимыми. Тот, что перекрыл дорогу к крепости и сжимал кольцо смерти всё туже.

Высокий воин остановился перед Андреем, не опуская взгляда.

— Зачем ты пришёл?

Андрей не стал отвечать сразу. Он смотрел в глаза воина и видел там не злобу, а усталость. Усталость от того, что в тебе живёт нечто, что не даёт тебе быть просто человеком.

— Я пришёл забрать то, что вы держите здесь, — сказал он наконец. — То, что делает вас не собой. То, что заставляет вас убивать.

Воин усмехнулся, но в улыбке не было веселья.

— Это не мы держим. Это оно держит нас. Оно кормится нашей кровью, нашей яростью. Без него мы — просто люди в степи. А люди в степи умирают быстро.

Андрей кивнул. Он понимал. Это была сделка, заключённая задолго до него. Степь давала силу, а взамен брала души.

— Тогда пусть оно возьмёт мою, — проговорил Андрей спокойно. — Пусть оно попробует меня. Я уже умирал дважды. Я знаю, как пахнет смерть. И я знаю, что она не всесильна.

Старейшины переглянулись. В их взглядах мелькнуло что-то похожее на уважение — или на страх.

Высокий воин шагнул ближе:

— Ты говоришь как безумец. Или как тот, кто знает больше, чем должен.

Андрей разжал кулак. Гвоздь тускло блеснул в свете костров.

— Я знаю. И я готов заплатить.

И тут воздух вокруг дрогнул. Древний дух, что жил в степи, потянулся к Андрею, как змея к теплу. Он почувствовал его холод, его тяжесть, его голод. Тень взвилась вокруг него, пытаясь заслонить, но дух был сильнее. Он проникал под кожу, в кости, в память.

Андрей почувствовал, как перед глазами вспыхивают картины: младенчество, лихорадка, удар об угол стола, хрущёвки, туман, река времени. Всё, что он пережил, всё, что сделало его тем, кто он есть. И дух степи жадно тянулся к этим воспоминаниям, к этой боли.

Но Андрей не отступил. Он шагнул вперёд, прямо в этот холод, и сжал гвоздь так, что металл впился в ладонь.

— Нет, — прошептал он, и слово прозвучало как приказ, как заклинание, как удар кнутом. — Ты не получишь этого. Ты не получишь меня.

Гвоздь вспыхнул багровым светом. Ключ в кармане нагрелся, будто в нём проснулась старая магия. Тень превратилась в чёрное пламя и ударила по духу, разрывая его щупальца.

Степь застонала. Кочевники вокруг пошатнулись, будто их ударили. Высокий воин схватился за голову, его лицо исказилось от боли. Старейшины упали на колени, закрывая глаза.

А дух отступил. Не исчез, но сжался, втянулся в землю, в камни, в корни трав. Он понял: этот человек не станет его топливом.

Андрей стоял, тяжело дыша, чувствуя, как по лицу течёт холодный пот, а в груди горит что-то горячее и упрямое.

— Уходите, — проговорил он, глядя на высокого воина. — Оставьте крепость. Оставьте дорогу. Степь снова станет просто степью.

Воин посмотрел на него долго, потом медленно кивнул.

— Мы уйдём. Но знай: степь не забывает. И не прощает.

Они развернулись и пошли назад, в лагерь. Через несколько минут лагерь начал сворачиваться: гасили костры, сворачивали шатры, собирали лошадей. Кольцо смерти разжималось.

Андрей повернулся и пошёл обратно к крепости. Тень скользила рядом, теперь не дрожащая, а спокойная. Как будто она тоже знала: на этот раз они победили.

Глава 31.

Рассвет без выстрела

Когда Андрей подошёл к воротам, его встретили не криками радости, а тишиной. Казаки стояли молча, будто боялись спугнуть удачу. Атаман вышел вперёд и протянул руку. Андрей взял её, и они обнялись коротко, по-мужски, без лишних слов.

— Ты сделал то, что никто не смог бы, — проговорил атаман тихо.

Андрей покачал головой:

— Я просто напомнил степи, что она — не только тьма. Она ещё и земля. И на ней можно жить.

Порох остался в мешке. Пушка так и не выстрелила. И, может быть, именно в этом была их настоящая победа.

На рассвете степь дышала спокойно. Ветер нёс запах полыни, а не гари. Кочевники ушли, растворились в горизонте, оставив после себя только следы копыт и тишину.

Андрей стоял у частокола и смотрел, как солнце поднимается над рекой Самарой. Он знал: это не конец. Дух степи не исчез. Он затаился, ждал. И однажды степь снова потребует свою плату.

Но сегодня город был спасён. Сегодня люди могли дышать.

И этого было достаточно.

Глава 32.

Сотня с Самары

На рассвете степь дрогнула не от гнева, а от облегчения — или так казалось Андрею сквозь пелену жара. Он стоял у частокола, опираясь на плечо молодого казака, и смотрел, как из-за горизонта вытягивается длинная, ровная цепь всадников. Их было ровно сто — сотня с Самары, присланная на подмогу. За ними тянулись телеги: мешки с мукой, бочки с водой, ящики, туго перетянутые верёвками. И среди них — два сундука, тяжёлые, обитые железом: порох и свинец.

Атаман вышел вперёд, не пряча улыбки, хотя лицо его оставалось суровым.

— Живы, значит, — проговорил он, будто оправдываясь за эту улыбку. — А раз живы — значит, будем воевать дальше. Только теперь не голыми руками.

Сотник с Самары, крепкий мужчина с лицом, выдубленным ветрами и солнцем, спешил и протянул атаману руку.

— Привезли, что могли. И ещё восточку: в Самаре знают, что тут творится. Не просто набег, не просто стычка. Там, в канцелярии, шепчут про «нечистую силу на степных путях». Но мы не шепчем. Мы делаем.

Андрей хотел ответить, поблагодарить, но слова рассыпались в горле, превращаясь в сухой кашель. Жар бил изнутри, как кузнечный молот. Перед глазами плясали огненные круги, и в каждом из них мелькало одно и то же: гора, одинокая, горбатая, похожая на спящего зверя. Шихан.

Он пошатнулся. Казак подхватил его, не давая упасть.

— Андрей! — крикнул атаман, уже не как командир, а как человек, которому этот чужак стал братом по крови и по долгу.

— Всё в порядке, — прохрипел Андрей, но сам себе не верил. — Просто... мне нужно лечь. На минуту.

Его отвели в тот же сруб, где когда-то казачка перевязывала ему плечо. Теперь она снова была здесь — та же морщинистая, спокойная, будто сама степь говорила её голосом. Она приложила ладонь к его лбу и покачала головой:

— Лихорадка. Степная, злая. Она не просто греет — она показывает.

— Что показывает? — прошептал Андрей.

Женщина не ответила сразу. Она смочила тряпицу в настое, положила ему на лоб. Холод на мгновение прорезал жар, и Андрей увидел всё так ясно, будто стоял не на лавке, а на вершине той самой горы.

Глава 33.

Бред и откровение

В бреду время теряло смысл. То он снова был в хрущёвке, и запах гнилых цветов давил на грудь, то вдруг оказывался на вершине Шихана, где ветер был не ветром, а голосом. Гора шептала ему на древнем, забытом языке — языке тех, кто жил здесь до кочевников, до казаков, до самого первого вбитого кола.

«Корень зла зарыт в моём сердце, — шептала гора. — Он оплетает жилы земли, тянет их к себе, заставляет степь стонать. Пока он там, дух будет возвращаться. Он будет искать новые руки, новые клинки, новые сердца, чтобы в них поселиться. Ты можешь оборвать эту нить. Но цена будет твоей жизнью».

Андрей кричал, но из горла вырывался только хрип. Тень металась по срубам, билась о стены, будто пыталась вырваться наружу и утащить его прочь от этого жара, от этих видений.

А потом пришёл атаман. Он сел рядом, положил руку на плечо Андрея — не как на больного, а как на того, кто всё ещё держит оборону.

— Говорят, ты видишь что-то. Что-то важное.

Андрей с трудом разлепил глаза.

— Шихан... — прошептал он. — Там... корень. Древний. Он питает дух степи. Пока он жив, связь не разорвать. Кочевники будут снова приходить. Степь будет снова шептать им: «Убивайте. Держите кольцо. Не пускайте никого к крепости».

Атаман нахмурился.

— И что нужно сделать?

Андрей закрыл глаза, и перед ним снова встала гора — огромная, молчаливая, равнодушная к людям, но чуткая к силе.

— Нужно дойти до её сердца. До самой глубокой пещеры. Там лежит корень — не дерево, не камень, а нечто, что помнит, как земля была молодой. Его нужно сломать. Или сжечь. Или... отдать обратно времени.

— Один ты туда не пойдёшь, — сразу отрезал атаман. — Ты и на ногах не стоишь.

— Тогда возьмите меня на коня. Или на телегу. Но я должен быть там. Я единственный, кто может его коснуться. Гвоздь и ключ... они отзываются на эту силу.

Атаман помолчал, потом кивнул:

— Хорошо. Но не сегодня. Сегодня ты будешь лежать. Завтра посмотрим.

Когда он ушёл, казачка снова наклонилась к Андрею, поправила тряпицу.

— Ты говоришь с горой, как с живой. А она и есть живая. И она тебя слышит. Но она не любит, когда её тревожат. Будь осторожен: если ты вырвешь корень, земля может обидеться. И тогда степь перестанет быть просто степью. Она станет могилой.

Андрей не ответил. Он снова провалился в жар, и гора опять заговорила с ним.

Глава 34.

Путь к Шихану

На следующий день лихорадка не ушла, но Андрей встал. Он не мог позволить себе лежать, пока степь снова собирает силы. Сотник с Самары выделил ему коня — спокойного, широкого в груди, привыкшего к долгим переходам. Андрей держался в седле, вцепившись в луку, будто это была единственная нить, связывающая его с реальностью.

С ним пошли десять казаков — самых крепких, самых молчаливых. Атаман ехать отказался:

— Кто-то должен держать крепость. Если дух ударит снова, пусть это будет не пустое место.

Сотник поехал с ними. Он не говорил, что верит в «корень зла», но верил в Андрея. А этого было достаточно.

Степь тянулась перед ними, как огромное, дышащее существо. Ветер гнал по земле перекати-поле, и Андрею казалось, что это не сухие стебли, а маленькие тени, бегущие впереди, чтобы предупредить гору о приближении людей.

Шихан появился на горизонте ближе к полудню. Он не был похож на другие холмы: он стоял отдельно, гордо, будто знал, что он — не просто земля и камень. Его склоны были крутыми, изрезанными трещинами, похожими на шрамы.

Они спешили у подножия. Андрей с трудом сошёл с коня, чувствуя, как земля под ногами вибрирует, отзываясь на его шаги.

— Здесь, — прошептал он, доставая гвоздь Матвея. Металл тускло засветился, будто узнал место.

Сотник посмотрел на него с уважением и тревогой:

— Веди. Мы за тобой.

Вход в пещеру нашли быстро — он прятался за нагромождением валунов, узкий, тёмный, пахнувший сыростью и веками. Андрей шагнул первым, держа гвоздь перед собой, как факел. Латунный ключ он сжимал в другом кармане — на случай, если придётся запирать то, что они выпустят.

Пещера вела вниз, спиралью, будто сама гора хотела затянуть их глубже. Стены были покрыты странными узорами — не резьбой, а чем-то, что выглядело как застывшие потоки силы. Тень Андрея скользила по этим узорам, шипя, как вода на раскалённом железе.

Чем ниже они спускались, тем сильнее становился холод. Он не был обычным холодом — он был тяжёлым, липким, будто сам воздух здесь был пропитан древним страхом.

И наконец они вышли в круглую камеру. В центре её, уходя корнями в пол и потолок, висел тот самый корень. Он не был деревянным — он был из тёмного, почти чёрного камня, но жил. Андрей чувствовал это каждой клеткой: корень пульсировал, как сердце, и с каждым ударом земля вздыхала.

— Вот он, — прошептал Андрей, и голос его прозвучал в этой тишине как приговор.

Сотник и казаки встали позади, не решаясь подойти ближе.

— Как его уничтожить? — спросил сотник.

Андрей посмотрел на гвоздь, на ключ, на корень. И понял: нельзя просто сломать или сжечь. Это не предмет. Это узел времени, сплетённый из боли и силы.

Он подошёл к корню и приложил к нему гвоздь. Металл вспыхнул багровым светом, и корень отозвался — не звуком, а вибрацией, которая прошла через всё тело Андрея, как электрический разряд.

— Я разрываю связь, — проговорил Андрей, и слова прозвучали не как просьба, а как приказ, обращённый к самой земле. — Ты больше не будешь шептать кочевникам. Ты больше не будешь сжимать кольцо смерти вокруг крепости. Отпусти.

Корень задрожал. Из него потянулся чёрный дым, густой, маслянистый, похожий на тот туман, что когда-то заполнял хрущёвку. Тень рванулась вперёд и поглотила этот дым, сжигая его в своём пламени.

Земля застонала. Пещера затряслась, с потолка посыпались камни. Казаки отступили, но не побежали — они стояли, готовые защищать Андрея, даже если гора обрушится на них.

Андрей прижал к корню латунный ключ. Ключ щёлкнул, будто вошёл в невидимую скважину, и в этот момент Андрей почувствовал, как время вокруг него замирает, а потом делает шаг назад.

Связь рвалась. Не с треском, не с грохотом, а с тихим, почти незаметным вздохом — будто степь наконец-то смогла выдохнуть.

Корни потемнели, стали серыми, потом белыми, как окаменевшие кости. Пульсация прекратилась. Гора замолчала.

Андрей отступил, чувствуя, как жар лихорадки вдруг отступает, будто его вытеснила другая сила — сила освобождённой земли.

Глава 35.

Возвращение

Они выбрались из пещеры на свет, и степь встретила их не грозой, а тишиной. Тишиной, в которой можно было услышать, как растёт трава.

Сотник хлопнул Андрея по плечу, чуть не свалив его с ног:

— Ты сделал это. Я не знаю, как, но ты сделал.

Андрей только кивнул. Сил на слова не было. Но внутри было что-то новое — не пустота, а спокойствие. Будто он наконец-то поставил на место ту самую деталь, из-за которой весь мир ходил ходуном.

Когда они вернулись в крепость, атаман стоял у ворот. Он не бросился обнимать, не кричал от радости. Он просто посмотрел на Андрея, потом на небо, потом снова на Андрея — и кивнул.

— Степь дышит, — проговорил он тихо. — Теперь она дышит спокойно.

В следующие дни кочевники не появлялись. Не потому, что боялись. А потому, что дух, который шептал им приказы, умолк. Они стали просто людьми в степи — усталыми, голодными, ищущими дорогу к жизни, а не к смерти.

Андрей лежал на лавке, и лихорадка наконец-то отступила. Казачка улыбалась, впервые за всё время.

— Теперь ты свой, — сказала она, поправляя одеяло. — Степь тебя приняла. И отпустила.

Андрей улыбнулся в ответ. Он знал: это не конец. Время всё ещё ждало его. Где-то там, в будущем, в хрущёвке с тёмными окнами, туман мог снова подняться. Но сейчас город был спасён. Сейчас крепость стояла.

И этого было достаточно.

Глава 36. Пустота внутри

Андрей проснулся от того, что не знал, кто он.

Это было не как забыть имя — это было как потерять пол, будто кто-то выдернул из-под него опору, и теперь он висел в воздухе, не понимая, где верх, где низ. Он лежал на лавке в

знакомом срубе, пахло травами и дымом, рядом тихо сидела казачка, склонив голову, будто прислушивалась не к нему, а к тишине между словами.

— Ты опять кричал во сне, — проговорила она спокойно, без испуга. — Но теперь ты не звал степь. Ты звал кого-то другого.

Андрей хотел спросить, кого, но язык не поворачивался. В голове было пусто, как в брошенном доме, где ветер гуляет по комнатам, а эхо не отзывается.

Он сел, и мир качнулся. Перед глазами на мгновение вспыхнули обрывки: узкая улица, панельный дом, запах сырости и старых обоев... и лицо — зелёные глаза, мягкие, но упрямые, будто она всегда знала, что ему придётся куда-то уйти.

Елена.

Имя всплыло само, как пузырь из глубины. Но следом пришла боль — не физическая, а такая, от которой хочется закрыть глаза и не открывать их до тех пор, пока всё не исчезнет.

— Кто она? — прошептал он, сам не зная, к кому обращается.

Казачка посмотрела на него внимательно, будто видела не просто больного, а человека, у которого украли карту, по которой он шёл всю жизнь.

— Та, что приходит к тебе во сне. Ты шепчешь её имя, когда жар снова накатывает.

Андрей сжал кулаки. Память была как туман над рекой: он знал, что за ним что-то есть, но не мог разглядеть.

Глава 37.

Голос из темноты

Ночью Елена приходила снова. Не как видение, не как призрак — она садилась на край лавки, брала его руку, и её пальцы были тёплыми, настоящими.

— Помнишь, как мы прятались под одним зонтом, когда ливень начался прямо у подъезда? — говорила она, и голос её был таким знакомым, что у Андрея сжималось сердце. — Ты тогда сказал: «Если вода будет литься ещё час, мы станем русалами». И я смеялась.

Он смотрел на неё и хотел сказать: «Да, помню», но не мог. Картинка была, а слов не было.

— Ты обещал, что всегда будешь рядом, — тихо продолжала она. — А потом ушёл. И я осталась одна. Но я знаю, ты вернёшься. Ты просто забыл дорогу.

Она рассказывала про родителей: про отца, который чинил всё подряд, даже то, что не ломалось, про мать, которая всегда ставила на стол лишнюю тарелку — на случай, если кто-то зайдёт. Она рассказывала про детство: про качели во дворе, про то, как он боялся темноты, но никогда не признавался.

И с каждым её словом в груди Андрея что-то шевелилось — будто в пустой комнате зажигали по одной свече.

Но утром она исчезала. Оставались только слёзы на его щеках и ощущение, что он что-то должен сделать. Что он не может просто лежать и ждать, пока память вернётся сама.

Глава 38.

Приказ и долг

Атаман пришёл днём. Он не стал спрашивать, помнит ли Андрей что-нибудь. Он просто сел напротив и сказал:

— В Уфе бунт. Маленький отряд башкир поднял знамя, перекрыл дорогу, жжёт обозы. Нам нужно идти. Нужно подавить мятеж, пока он не разросся. Сотник с Самары берёт отряд. Ты пойдёшь с ним.

Андрей поднял глаза.

— Почему я?

Атаман помолчал.

— Потому что ты умеешь видеть то, что скрыто. Потому что в тебе есть сила, которую степь боится. И потому что, даже если ты не помнишь себя, ты помнишь долг. А долг у нас один: держать границу.

Андрей кивнул. Он не помнил себя, но помнил, что должен идти.

Сборы были короткими. Ему дали коня, саблю, флягу с водой. Гвоздь Матвея он нашупал в кармане — металл был холодным, но не вибрировал, как раньше. Латунный ключ он тоже взял, хотя не знал зачем. Просто рука сама потянулась к нему, будто ключ был якорем, который не давал ему уплыть в пустоту.

Сотник посмотрел на него с сомнением, но ничего не сказал. Он знал: если атаман велел, значит, так надо.

Отряд выехал на рассвете. Степь встретила их тишиной — не зловещей, а усталой, будто после долгой грозы. Андрей ехал впереди, чувствуя, как ветер треплет волосы, и пытался поймать хоть одну мысль, которая была бы его собственной, а не чужой, подслушанной во сне.

Глава 39.

Дорога в Уфу

Они шли три дня. На второй день Андрей начал замечать детали, которые цепляли его память: изгиб реки, похожий на тот, что он видел в детстве; камень, формой напоминавший собачью голову; запах полыни, который вдруг становился не запахом степи, а запахом двора, где он вырос.

По ночам Елена приходила снова.

— Мы жили на пятом этаже, — шептала она, сидя рядом с ним у костра. — Окна выходили на пустырь. Ты говорил, что когда-нибудь там построят парк, и мы будем гулять там с нашими детьми.

Андрей закрывал глаза и пытался удержать эти слова, как держат воду в ладонях.

На третий день дозорные принесли весть: отряд башкир стоит у переправы, перекрыв путь. Они не грабили, не жгли деревни — они просто не пускали никого дальше. И в этом было что-то странное, будто они ждали не победы, а чего-то другого.

Сотник собрал казаков.

— Мы не будем рубить с ходу. Сначала поговорим.

Андрей стоял рядом, чувствуя, как гвоздь в кармане становится тёплым.

— Я пойду первым, — сказал он неожиданно для самого себя.

Сотник нахмурился.

— Ты ранен. Ты болен.

— Но я единственный, кто может понять, чего они хотят.

Сотник помолчал, потом кивнул.

Глава 40.

Переправа и правда

Башкирский отряд стоял у переправы, как стена. Впереди был молодой воин с гордым лицом и усталыми глазами. Он не поднял копья, но и не опустил его.

— Зачем вы идёте? — спросил он на ломаном русском, и в голосе его не было вызова — только усталость.

Андрей вышел вперёд. Он не знал, что сказать, но слова пришли сами:

— Мы идём, потому что нам приказали. Но я не хочу крови. Скажи, чего ты хочешь?

Воин усмехнулся, но в улыбке не было злости.

— Я хочу, чтобы нас слышали. Мы не хотим войны. Но мы не хотим, чтобы нашу землю топтали чужие сапоги.

Андрей посмотрел на него и вдруг увидел не врага, а человека, который тоже потерял что-то важное. И в этот момент память ударила его, как волна: он вспомнил, как в его времени люди тоже кричали, чтобы их слышали, но их голоса тонули в шуме города.

Гвоздь в его кармане вспыхнул тусклым светом. Воин заметил это и отступил на шаг.
— Ты не простой казак, — прошептал он.

Андрей покачал головой.

— Я и сам не знаю, кто я. Но я знаю одно: если мы начнём сегодня, завтра будет поздно.
Он шагнул ближе, не к воину, а к самой границе между ними.

— Давай не будем воевать. Давай найдём другой путь.

Воин посмотрел на своих, потом снова на Андрея. В его глазах мелькнуло что-то похожее на надежду.

— Если ты говоришь правду... если ты действительно не хочешь крови... тогда мы отступим. Но пусть кто-то из ваших останется здесь. Пусть слушает. Пусть слышит.

Сотник, стоявший позади, вышел вперёд.

— Я останусь. Я буду говорить с вами. И мы найдём способ, чтобы дорога была открыта, а ваши голоса — услышаны.

Воин кивнул. Он опустил копьё. Его люди тоже опустили оружие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.